

Редактор Качалкина



САША ОКУНЬ
КАМОВ И КАМИНКА



...
Это просто
очень интересная
книга. Я радаюсь
за каждого,
кто ее прочитает.
Людмила
Улицкая

Редактор Качалкина

Саша Окунь
Камов и Каминка

«РИПОЛ Классик»

2015

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Окунь С.

Камов и Каминка / С. Окунь — «РИПОЛ Классик»,
2015 — (Редактор Качалкина)

Два художника – две судьбы. В прошлом лучшие друзья Михаил Камов и Александр Каминка встречаются после многих лет разлуки в Иерусалиме, а путь их начинается еще в андеграундном богемном Ленинграде пятидесятих годов прошлого века, где красивые женщины проповедуют свободную любовь и даже полковник КГБ становится ярым поклонником прогрессивного искусства. Один художник станет скучным конформистом, а другой сохранит веру в творчество и победит скуку, доказав, что гораздо важнее на самом деле быть, чем казаться. Этот роман написан в духе лучших вещей Дины Рубиной и обладает долгим «послевкусием» настоящей качественной прозы!

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Окунь С., 2015
© РИПОЛ Классик, 2015

Содержание

Пролог	6
Глава 1	8
Глава 2	11
Глава 3	14
Глава 4	20
Глава 5	25
Глава 6	29
Глава 7	32
Глава 8	36
Глава 9	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Саша Окунь

Камов и Каминка

© Окунь А., текст, 2015

© Журавлев К., оформление обложки, 2015

© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015

* * *

Вере

Любое сходство персонажей с существующими в действительности людьми является исключительно случайным и не имеет к ним никакого отношения.

За помощь, поддержку, советы, критику – поклон и благодарность И. Губерману, М. Иванову, М. Киммер, Ю. Киму, А. Михелевой, Р. Нудельману, Д. Рубиной, Л. Улицкой

Пролог

Эта ночь ничем не отличалась от той, что была вчера, будет завтра и еще пару, а то и три ближайших месяца. Тучная, отдышливая, липкая, она заставляла обитателей легкомысленного города на восточном побережье Средиземного моря и после захода солнца дышать плоским, безличным воздухом кондиционера. И оттого, что окна были наглухо закупорены, рассвет был лишен многих важных своих признаков: оживленной переключки пернатых, терпкого запаха мокрого газона, деловитого шуршания шин по влажному асфальту, шелеста листвы, пробужденной утренним бризом. Не было запахов, не было звуков, и, как в кино со вдруг сорвавшейся звуковой дорожкой, только безмолвное изменение световой шкалы извещало о наступлении очередного, такого же, как и ночь, безвыходно душного, потного, жаркого дня. С трудом просочившись сквозь вязкую темную ткань небосвода, первые солнечные лучи подожгли тонкие веточки антенн на высотном здании Кольбо Шалом, вслед за ними вспыхнули окна верхних этажей, и огонь потек вниз, к мелким трех- и четырехэтажным коробкам, беспорядочно разбросанным вокруг рынка Кармель между Кольбо Шалом и набережной. Добравшись до второго окна слева на семнадцатом этаже, луч нырнул внутрь, толкнул дремавшего в кресле за письменным столом пожилого человека в мятой голубой рубашке с короткими рукавами и, проведя быструю ревизию нехитрой обстановки – компьютер, телефон, календарь, – побежал дальше. Человек зевнул, потянулся, разведя в стороны пухлые, поросшие мягкими рыжеватыми волосками руки, взглянул на часы, еще раз потянулся, зевнул, потер глаза, встал и неторопливо пошел на кухню. Он был выше среднего роста и довольно полон той красивой барской полнотой, которая не портит человека, но напротив – придает ему вид вальяжный и к себе располагающий. Приготовив эспрессо, он положил в чашку ломтик лимона, вернулся, скользнул взглядом по стене слева от окна, на которой светилось несколько мониторов с еще темными и пустыми переулками рынка, и прошел в другую комнату. За окном, внизу, докуда хватало глаз, сливаясь на горизонте с мутным серо-голубым ватным небом, расстилалась гладкая, без единой морщинки сатиновая простыня моря. Справа – такая же дрянь, как новый Арбат, подумал человек, с наслаждением втянув первый глоток кофе, – вдоль набережной торчали одинаковые прямоугольники отелей, слева далеко золотились старинные здания Яффы, а между ними россыпь этих стандартных баухаусовских коробок с их бесхитростной геометрией прямоугольных освещенных стен, черных провалов окон, горизонтальными полосок жалюзи, вертикалями антенн, цилиндрами водяных баков, треугольниками теней и диагоналями коллекторов на крышах.

«Какая все-таки разница, – глядя на медленно просыпающийся город, продолжал меланхолично рассуждать человек. – Оба – результат довольно абсурдного волевого акта, оба у моря. Только один – кто это сказал, Фальк, Лифшиц? – пафос великолепно организованного пространства, а другой, господи прости, архитектурное непотребство». Он вспомнил слова Вагановой, которая на вопрос, почему ленинградский балет лучше московского, ответила: «Когда мои девочки идут в школу, они видят архитектуру, а что они видят в Москве?» И хмыкнул: «Да, у этого города долго не будет приличного балета. И ведь гордятся: столица Баухауса... – Он ловко отправил плевков в горшок с разлапистым несуразным кактусом в углу комнаты. – Вот оно, истинное воплощение тоталитаризма, куда там сталинской готике и гитлеровскому неоклассицизму...»

Требовательная дробь телефонного звонка прервала его размышления. Отправив в рот последний глоток кофе, он проворно скользнул в другую комнату и снял трубку:

– Да... Слушаю... Все под наблюдением... Нет, я ведь говорил, что вчера не было ни малейших шансов на то, что они появятся. А сегодня эти шансы есть... Не знаю, может,

и через неделю, но, скорее всего, сегодня. Не беспокойтесь. Куда им деться... Да, уверен. Разумеется, отвечаю... Непременно.

Он положил трубку, поставил пустую чашечку на стол и снова подошел к окну. Внизу занимался обычный летний день. Шины автомобилей оставляли темные полосы на влажном асфальте. Человек посмотрел на часы.

– Не терпится ему, – пробурчал он.

Вернулся в комнату, подошел к столу, открыл ящик, вынул «беретту», сунул за пояс сзади, потянулся, пробормотал: «Глупые старые сукины дети» – и широко, со вкусом, зевнул.

* * *

Собственно, текст, который вы только что прочитали, скорее смахивает на начало триллера средней руки и совершенно не подходит правдивой, серьезной и даже в каком-то смысле трагической истории, которую мы вознамерились вам поведать. Тем не менее мы начнем нашу историю именно так, как начали, и тому имеются свои резоны, которые мы вовсе не собираемся от читателя скрывать, напротив! Причиной (одной из, если быть точными, а мы стараемся быть точными) написания этой книги является не только желание, начиная с самого начала и до самого конца, довести до сведения читателя историю, свидетелями которой мы были, но и желание поделиться с ним своими соображениями о вещах, которые представляются нам достаточно серьезными, чтобы осмелиться претендовать на внимание и время занятого (а кто сегодня не занят?) человека, и достаточно забавными, чтобы его немножечко развлечь (а кто в этом не нуждается?). Но как читатель сможет поверить в правдивость этой самой истории, увлечься, отдаться ей, смеяться и плакать, если в душу его закрадется подозрение, что автор неискренен с ним до конца, что он кой-чего скрывает, не договаривает или, упаси бог, выдумывает? Именно поэтому с первых же строк мы хотим заявить, что открываем читателю, как на духу, все, как оно было и как оно есть, и не только произошедшие на наших глазах события и причины, к ним приведшие, но и собственные соображения, намерения, сомнения, нигде и ни в чем не утаивая от него и малости самой. Взять хотя бы вот это самое начало. Начать, знаете ли, совсем непросто. Порой есть хорошая история, да никак не получается начать ее впечатляюще и ярко, а порой есть замечательное начало, но совершенно безо всякого употребления. Вот, к примеру, придумали мы изумительное, тянущее уж если не на Нобелевскую, то на Букеровскую премию, начало: «В Суккот Машка запила». Правда, дивно? А продолжения нет... Так вот, во-первых, расчет наш был на то, что такое детективное начало читателя заинтригует и, дабы узнать, чем дело кончилось, заставит его прочитать книжку до конца. Во-вторых (как и обещали, чистосердечно признаемся), мы любим триллеры, и ужас как хотелось бы сочинить ну, если не весь триллер целиком, так хотя бы чуть-чуть. В-третьих, любую жизненную историю можно рассматривать как детективную: в конце концов, пусть не убийство, но уж какая-нибудь тайна, загадка, а то и, упаси господь, преступление в ней обязательно найдется. А раз так, то оставим вступление, которое вы только что прочитали, и с божьей помощью двинемся дальше, от побережья Средиземного моря вглубь, на восток.

Глава 1

В которой читатель знакомится с одним из двух главных героев повествования – художником Александром Каминкой

Дорога, спускающаяся из Иерусалима к Мертвому морю, пролегает по горам Иудейской пустыни. Возникли они сравнительно недавно, всего каких-нибудь семьсот тысяч лет назад, и, может, оттого, что жизненный процесс их еще не прекратился и время от времени они начинают дышать и двигаться, пустыня похожа на огромный, погруженный в длительный сон гарем. Долгие покатые бедра, крутые зады и упругие груди, нежные животы и прельстительные складки паха, подмышек и шей засыпала розовая на закате, золотисто-белая в полдень пыль. Спят обитательницы гарема, но не вечен их сон, и когда пробудятся они и восстанут, те, кто не умер раньше, проклянут свою участь и позавидуют мертвым. Однако покуда не вздыбились горы, пока не треснула их сухая, шероховатая кожа, по тусклой полоске асфальта, которая соединяет висящую над Иерусалимом синюю жесть неба с эмалевой зеленью Мертвого моря, снуют, даруя любознательным иностранцам несколько часов волнующих переживаний, автобусы – цветастые челноки туристского бизнеса, трудолюбивые грузовики везут из Калии и Эйн Геди в Иерусалим нежные плоды финиковых пальм и спешат обратно, нагруженные ужасными газированными напитками, сосисками и гамбургерами, которые будут проданы тем самым туристам по грабительским ценам. Военные люди тоже пользуются эту дорогу, утюжат ее своими джипами и команд карами, следят за порядком и безопасностью. Их лица несут на себе печать бессонных ночей и огромной ответственности, и нет у них ни сил, ни интереса любоваться украшенной черным орнаментом бедуинских палаток золотисто-розовой оторочкой серой асфальтовой полосы.

Все эти люди, туристы, военные, водители грузовиков, бедуины, а также и другие, ранее нами не упомянутые, такие как, например, г-жа Мирав Ханауи, кассирша музея Мозаик, что на месте приюта Доброго самаритянина, продавцы киосков с напитками, официанты тоскливых кафе с казенными салатами, хумусом и чипсами, владельцы сувенирных магазинов с бусами, хамсами, кремами от загара и пляжными принадлежностями, хозяин верблюда, равнодушно лежащего у отметки «Уровень моря», да и сам верблюд, паломники и, не дай бог, террористы, которые вполне могут случиться, ибо легко маскируют свою внешность под любого из вышепоименованных, – все они утром двенадцатого числа месяца Нисана по еврейскому календарю могли наблюдать маленькую старую белую «мазду», торопливо спускавшуюся из Иерусалима к Мертвому морю. Могли и, может, даже заметили, но вряд ли это событие отпечаталось в их памяти, ибо кому какое дело, что за машина, тем паче такая невзрачная, и куда она спешит, по какой такой надобности, и кто в ней сидит, и чего ему в этой жизни надо. Было бы странно, если бы люди имели основания задаваться подобными вопросами, а затем о них размышлять. Более того, позволительно задать встречный вопрос: буде задавались бы люди подобными вопросами, во что превратилась бы их собственная жизнь, и, далее, не является ли жизнь как таковая вообще не чем иным, как попыткой увернуться от возможно большего количества вопросов? Этот вопрос сам по себе отнюдь не бессмыслен и не безынтересен, но, если мы сейчас им займемся, он, безусловно, увлечет наше повествование с дороги, на которой мы пытаемся его удержать, на тропинку, с которой нам вряд ли удастся на дорогу эту вернуться. А раз так, то, с сожалением отказавшись от соблазна отправиться в неведомые дали, мы продолжим путешествие по дороге номер 90 (а именно такой номер имеет дорога, идущая из Иерусалима к самой южной точке

страны городу Эйлату на Красном море) и, пользуясь случаем, поинтересуемся водителем упомянутой грязной, старой машины.

Человеку, сидевшему в автомобиле, на вид можно было дать лет пятьдесят пять – шестьдесят с хвостиком. Лицо у него было благообразное, чисто выбритое, с карими, небольшого размера, круглыми, птичьими, под необычайно подвижными кустистыми черными бровями, глазами. Брови эти то разбегались в разные стороны, то сосредоточенно хмурились, то, сдвигая собранную в глубокие складки кожу лба к выющимся седым волосам, жалобно приподнимались домиком (причем правая всегда выше, чем левая). Небольшой, даже коротковатый, с горбинкой нос резко выдавался вперед, придавая своему хозяину явное сходство с попугаем. Рот же был мягкий, даже, пожалуй, вялый, и влажные губы его жили жизнью, казалось от владельца совершенно независимой, то складывались куриной гузкой, то удивленно открывались, обнажая неровные, желтоватые зубы, а нижняя губа имела обыкновение обиженно выпячиваться вперед. В общем, лицо это, выдавая характер нежный, чувствительный, тонкий даже, производило впечатление скорее положительное, нежели наоборот, хотя набухшие, стекающие отечными складками на впалые щеки мешочки под глазами сообщали внимательному наблюдателю непреложный факт: художник Александр Каминка (а именно так звали нашего героя) был человеком пьющим, а человек пьющий и в сорок может выглядеть и на пятьдесят, и на шестьдесят даже лет. Однако если определение возраста могло и составить определенную трудность, то страдальческий излом нахмуренных мохнатых бровей, сосредоточенный мрачный взгляд глубоко ушедших в глазницы глаз и побелевшие суставы крепко вцепившихся в руль пальцев с очевидностью сообщали, что в настоящий момент художник Каминка был чем-то серьезно озабочен. И сообщение это было исключительно правдивым: неприятности у художника Каминки имелись, и немалые.

Все началось с революционных преобразований, проводимых в иерусалимской Академии художеств «Бецалель» новым начальством. Ну, запретили преподавать перспективу, большое дело! Да и не то чтобы совсем запретили, на факультетах дизайна и архитектуры в черчении она осталась... Год назад совет попечителей вместо вышедшего на пенсию Юваля Янгмана избрал ректором профессора Дуду Намалья, человека, которого в Академии недолюбливали и побаивались. Поджарый, с седеющими висками и лаковой чернотой плотно прилипших к черепу волос, глубоко сидящими под накатом пологого лба горящими глазами, острым носом и маленькой щелкой безгубого рта, он, в отличие от большей части преподавателей, не говоря о студентах, был всегда тщательно одет и носил не сникеры, а фирменную дорогую итальянскую обувь.

Первым делом Намаль отменил преподавание истории искусств как дисциплины, сковывающей творческий потенциал и волю студентов, заменив ее предметом под названием «Креативное мышление». Затем он взялся за академический рисунок. Для начала при поддержке феминистских и религиозных кругов он запретил пользоваться женской обнаженной моделью, поскольку это является сексистским и шовинистским использованием женского тела. Мужская модель осталась как демонстрация проявления терпимости и мультисексуальной культуры. Затем было запрещено преподавание итальянской перспективы как дисциплины, мешающей развитию индивидуальности студента. Согласно этой перспективе, выступая на общем собрании, посвященном открытию учебного года, сказал Дуду, параллельные линии стремятся в одну точку схода на линии горизонта. Но почему именно на линии горизонта и почему в одну? Мы стоим за то, чтобы наличие количества точек не ограничивалось – чем больше, тем лучше! Да и линия горизонта в скрижалях Завета отнюдь не упомянута! И пусть каждый, – Дуду простер в зал руку, – да, каждый выбирает столько точек, сколько требует его творческая индивидуальность! Впрочем, вообще следует обратить внимание на преподавание рисунка. К сожалению, в нашей академии оно ведется крайне кон-

сервативно. Бумага, карандаш, уголь... Я не против, почему бы и нет – в конце концов, традиции – важная часть нашего культурного наследия. Но они не должны превращаться в кандалы на ногах юного поколения, которое обязано смотреть только вперед! Идти по улицам города, разве это не значит прокладывать невидимую, но существующую в сознании и времени линию? Кто осмелится сказать, что это не есть рисунок?

Водить студентов по улицам старший преподаватель Каминка не стал, но перспективе обучать перестал, про горизонт не упоминал и замечаний на этот счет не делал. В конце концов, до пенсии ему оставались считанные годы.

Однажды, в середине первого семестра, после урока, на котором он по ходу дела процитировал фразу немецкого композитора Пауля Хиндемита: «Когда мне заказывают траурный марш, я не душу свою жену, чтобы испытать скорбь и отчаяние, а когда мне заказывают свадебный марш, не бегу на улицу искать девушку, чтобы влюбиться. Я знаю, как это делается», к нему подошли два студента. Один из них, набычась, сказал:

– Мы хотим уметь рисовать табуретку, как она есть.

А второй добавил:

– Самовыражаться мы можем где угодно, а здесь мы хотим научиться, как это делается профессионально.

Художник Каминка в растерянности смотрел на стоящих перед ним юношей, в чьих глазах настойчивость, жажда и задор были смешаны с уважением и доверием. И вдруг вспомнил, как много лет назад, зимним вечером, вцепившись окоченевшими руками в тяжелую папку своих работ, тащил ее по гудящему, остро бьющим по лицу снегом переулку на показ художнику Батенину, тогдашнему своему кумиру, который согласился посмотреть работы застенчивого мальчишки, глядевшего на него умоляющими восторженными глазами. Он, словно отгоняя наваждение, мотнул головой, неуклюже повел руками и неожиданно для себя самого сказал:

– Ну, что ж. Приходите в мастерскую. Это около главпочты. В пятницу. Там и стоянку легко найти.

Довольно быстро у него набралась группа в полтора десятка человек. Каминка рассказывал им, что перспектива – это не точка схода на горизонте, а способ перевода с языка трехмерного пространства на язык двумерного. Что, как любой перевод, это не копирование, а творческая работа. Что перспектива есть не что иное, как пластический эквивалент мировоззрения определенной эпохи, поэтому перспектив много, поэтому нет «правильной» перспективы, и что в каком-то смысле запрет на итальянскую иллюзорную перспективу справедлив, ибо она не отражает индивидуалистический дух эпохи. Что научиться рисовать табуретку, как она есть, не самоцель и что учить законы надо для того, чтобы уметь их обходить, ибо каждый хороший художник – преступник, а преступнику необходимо знать законы, иначе он неминуемо попадаетеся...

На выставке в конце года работы его группы настолько отличались от работ остальных студентов, что Дуду Нам ал ь заподозрил что-то неладное. После короткого расследования правда о пятничных уроках выплыла наружу, и разразился скандал...

Глава 2

Рассказывающая о западне, в которую попал художник Каминка

Четыре судьбоносных бетховенских удара пронзили благостную тишину замершего в субботнем оцепенении города. На пороге мастерской художника Каминки стояли его коллеги по службе в Академии. Похожий на постаревшего теленка, Асаф бен Арье, симпатичный мужик лет пятидесяти, с кольцами сивых волос, падающих на упрямую выпуклость лба, во всегдашних своих рваных, застиранных джинсах и черной футболке, был одним из любимцев художественного истеблишмента. Выросший на границе с Ливаном, в тоскливом городишке Киръят Шмона, где единственным развлечением были гашиш и ракетные обстрелы, он после службы в армии поступил в Бецалель. Простодушный, способный юноша был идеальным материалом этакой *tabula rasa*, на которой горящими письменами запечатлевалось все, чему учили его знаменитые профессора. Затем он поучился в Нью-Йорке, вернулся, начал работать с одной из самых модных тель-авивских галерей, и с год назад его выставка «Образ и Материал» – небольшие квадраты негрунтованного холста с мазком синей краски посередине, под названием «Море», голубой, под названием «Небо», желтой, под названием «Песок», и так далее – принесла ему восторженные отзывы критиков и приз Главы Правительства в номинации «Пластическое искусство». Художник Каминка общего восторга, как и ожидалось, не разделял, а от вопросов отделялся загадочной фразой: «Японец, он нет».

Рядом с Асафом стояла Смадар Элькаям, костистая брюнетка лет под сорок, одетая в черные тайцы и спадающую с плеч черную накидку с палестинским орнаментом. Пальцы тяжелых больших кистей рук были закованы в крупные перстни. Под синего цвета волосами в правой изломанной черной брови блестела золотая булавка, из крашенных темно-фиолетовой помадой губ свисала сигарета, а черные, конские, окруженные тонким колечком синеватого белка зрачки мрачно металась в темных глазницах, быстро перепрыгивая с предмета на предмет, с лица на лицо, цепко ощупывая и оценивая степень пригодности объекта к проекту, который назывался «Жизнь и творчество Смадар Элькаям». В этой женщине постоянно бурлило плохо скрываемое беспокойство, что проект этот подвергается неопределенным, но очевидным враждебным проискам с целью оттеснить ее из эпицентра художественной жизни куда-нибудь подальше, а то и вовсе задвинуть в тень, где сохнут лишены живительного внимания сотни ее коллег, так и не сумевших пробиться на арену, где места хватает лишь немногим, самым упорным и изобретательным бойцам. Тревога эта была отнюдь не беспочвенной, ибо любой успех вызывает мутную и небезопасную волну зависти и интриг, и, хотя до сих пор все ее начинания пользовались исключительным успехом, бдительность была вполне уместна и к тому же принуждала Смадар к постоянной активности, что, надо признать, только шло ей на пользу. Как и Асаф, выпускница Бецалеля, она произвела фурор выставкой, открывшей серию экспозиций, где выставлялись произведения, основой которых служили коричневые бумажные пакеты сети кафе «Гилель». «Эспрессив Эктив» – название стиля художницы отражало стимулирующее действие эспрессо, с одной стороны, и экспрессивность творчества художницы – с другой.

«Атмосфера, цвет, освещение и энергетика кафе пришлись мне по душе. В результате долгих размышлений и глубокой внутренней работы я разработала новую технику многослойной живописи, основанной на использовании способности бумажных пакетов впитывать краску для мебели, которую я раздобыла в соседней столярной мастерской» – эта фраза из ее интервью вошла в академический курс креативного мышления в качестве примера реализации внутреннего мира художника в адекватном материале.

Однако самым звонким, принесшим ей приз Тель-Авива и в том же году представлявшим Израиль на Венецианской биеннале, стал проект Смадар под названием «Происшествия». На этот раз она основала направление «клемонаполуизм». На разложенные на полу холсты Смадар распыляла краску из аэрозольных баллончиков, ходила по ним босиком, а потом вешала их на стену, где происходил трансцендентный акт впитывания краски холстом по собственной его воле. «Мои произведения, – сказала Смадар в интервью пятничному культурному приложению к газете “Гаарец”, – это цельный рассказ, но не обо мне самой, а о посетителях музея. Цветные пятна, как кляксы Роршаха, проникают в сознание и чувства зрителя, а затем выплескиваются в виде эмоций и переживаний. Революционным актом моего творчества является тот факт, что не только зрители пытаются найти логику в экспозиции, но и сами картины, висящие на стенах, ищут смысл в том, что кто-то приходит в музей, для того, чтобы на них посмотреть». Пресса устроила Смадар овацию. «Самоанализ, вдохновение, уединение, созерцание – все это необходимо, чтобы разглядеть и понять работы Смадар Элькаям. Пятна и линии работ направляют зрителей, заставляя совершить внутреннее путешествие в глубины собственной души, – писал ведущий критик Коби Биренбаум в журнале “Садиа”. – Через эти абстрактные полотна, через их точно выверенную беспорядочность, приходит понимание, что у каждого душевного движения есть причины, а также последствия, понимание чего требует определенной работы: созерцания!»

Художник Каминка побывал в музее, прочитал интервью, ознакомился с критикой и в очередной раз со стыдом должен был признать, что ничего не понял. И вот теперь эти любимцы фортуны находились в его мастерской, заставляя хозяина, теряющегося в догадках о причине их визита, несколько нервничать.

– Понимаешь, – наконец приступил к делу Асаф, ставя на табуретку, служившую Каминке журнальным столиком, чашку зеленого чая, суетливо приготовленного хозяином, – тебе предоставляется замечательный шанс уладить... – он замялся в поисках нужного слова, – этот, м-м-м, инцидент. В общем, речь идет о выставке в Тель-Авивском музее, которая называется «Пустота». Состав шикарный! Смадар, я, Борховская, Шрекингер, бен Маймон, Дуделе, сам Жак Люка из Парижа и... – Асаф сделал театральную паузу, – ты! Курирует Рути Мендес-Галанти.

– Я? – Каминка был искренне удивлен. – А что мне там делать? Вы все люди современные, а я – динозавр.

– В этом-то и дело. – Асаф доверительно наклонился к Каминке. – Никто, понимаешь, никто не ищет для тебя неприятностей, кроме тебя самого, конечно. – Он ласково потрепал Каминку по колену. – Поступил ты, брат, сам понимаешь, некрасиво. Ты ведь не частное лицо, ты часть Академии, популярный преподаватель, и вдруг такая, понимаешь ли, фронда. Нехорошо, брат, не по-товарищески. Неэтично. – Он тяжело вздохнул, затем улыбнулся и снова мягко положил Каминке на колено красивую смуглую руку. – Но начальство, мы все, никто не хочет скандала, никому он не нужен. И вот, понимаешь, чудный, так сказать, ход: участвуешь ты в авангардистской выставке, в нашем общем деле, как все, не оппозиционер какой, а, так сказать, в первых, лучших рядах. – Асаф выпрямился и громко отхлебнул чай.

– Да я как-то не представляю, – неуверенно сказал Каминка, – я, боюсь, далек...

С момента своего появления в мастерской Смадар, не обращая внимания на стоящую перед ней чашку чая, прикончила несколько сигарет. Она молчала, будто все происходящее нимало ее не касается, но глаза ее находились в постоянном движении, цепко схватывая каждую, даже, казалось бы, незначительную, деталь захлавленной, неприбранной мастерской. Первым делом они быстро и внимательно пересчитали папки с рисунками, работы на стенах, обшарили покрытые пылью предметы для натюрмортов, перебрали рабочий инвентарь – все эти сморщенные тюбики красок, банки, бутылки с разбавителями и лаками, букеты

кистей в жестянках, – но когда художник Каминка робко ответил Асафу, ее взгляд оторвался от горы немых чашек в раковине и впился в растерянное лицо хозяина мастерской.

– Ты лучше представь. А то, неровен час, какая-нибудь студентка вспомнит, как ты ее в коридоре за жопу хватал.

– Я?! – возмутился художник Каминка.

– Ты, ты. С твоим-то реноме кто тебе поверит. – Она сунула сигарету в чашку и резко встала. – Пошли, Асаф.

Ее глаза скользнули по нескольким стоящим у стены пейзажам пустыни.

– Пейзажики... – потянула она, – натюрмортики... Подумай.

* * *

Художник Каминка притормозил возле меланхолично лежавшего у перекрестка обшарпанного верблюда и повернул на юг. Слева, за разрушенными охристыми коробками казарм Иорданского легиона, полированным малахитом блеснула полоска Мертвого моря, справа перевернутые восклицательные знаки кибуцных финиковых пальм ровными рядами убегали к перфорированным темными точками пещер Кумрана ярко-розовым горам.

– Какая же сучка, эта Смадар! А что, если она права? И чтобы свести счеты, ему, используя ту давнюю историю, подстроят провокацию?..

Глава 3

Повествующая о других неприятностях, приключившихся с бедным художником

Нет никаких сомнений, что важнейшей из трех составляющих любого произведения двумерного пластического искусства является композиция. Нам известны великие мастера, такие как Рафаэль, чьи колористические достоинства сводятся к умению более или менее успешно замаскировать полное отсутствие оных. Можно спорить о причинах – точнее и спорить не нужно, причины эти очевидны, и, возможно, однажды у нас еще найдется повод о них поговорить, – побудивших Микеланджело сказать о Тициане: «Как жаль, что такой талантливый художник совсем не умеет рисовать», но сейчас достаточно отметить, что даже Микеланджело, несмотря на слабый, по его мнению, рисунок, не отрицал достоинств Тициана-живописца. Однако не будет преувеличением заметить, что не существует ни одного и не просто выдающегося – хорошего произведения с дурной композицией. И разумеется, это относится не только к живописи и графике, но абсолютно к любой области творческой активности человека, будь то скульптура, архитектура, музыка, поэзия, проза. Хорошая композиция – неперемное условие успешной работы, ибо является не чем иным, как организацией пространства. А что такое творчество вообще, если не организация, не преобразование хаоса в систему? Чем занят музыкант, как не организацией звуков, архитектор – объемов, художник – линий, пятен, красок, литератор – слов? Организация эта, сиречь композиция, ее ритмическая основа, ее динамика, логика, баланс, именно она, не в меньшей степени, чем занимательный сюжет, изящный стиль и мудрые мысли, является залогом успеха литературного произведения. И если сюжет этой книги представляется нам исключительно животрепещущим, стиль вполне достойным, а содержание достаточно глубоким, то вопрос о том, каким образом строить наше повествование, немало нас тревожит. Должно ли оно литься, так сказать, естественным путем, последовательно, от начала к концу, или расцветать спонтанно, как результат полета свободных ассоциаций? Будет ли верным насаживать события на шампур временной оси или же тасовать их как карты в колоде, сдавая читателю как пойдет? После некоторых раздумий мы пришли к выводу, что милый нашему сердцу линейный способ изложения событий, увы, не соответствует духу сегодняшнего дня. Сами посудите, у кого достанет терпения (уж не говоря о времени) влачиться, образно говоря, по тропе повествования пешком, отмечая каждый кустик, каждый камушек, каждый, даже самый невзрачный, цветочек, былинку хилую? Куда как авантажней дерзкие прыжки во времени, будоражащие воображение и не дающие погрузиться в сладостную дрему, короче, этот способ передачи информации наилучшим образом соответствует возможности читателя эту самую информацию поглощать и переваривать небольшими контрастными порциями, так, как это принято в нашу яркую, торопливую и экономичную эпоху. Подобный пространственно-временной коктейль, как справедливо заметит просвещенный читатель, отнюдь не является изобретением автора, этому изобретению по крайней мере лет сто пятьдесят с хвостиком, и каким! Но мы и не претендуем на патент, мы просто, как уже говорили ранее, желаем быть с читателем полностью и во всем откровенными, посвящая его не только в события, на этих страницах изложенные, но и в авторские соображения по тому или другому поводу.

Инцидент, на который намекала Смадар, произошел года за три до описываемых событий. Точнее, несколько меньше, но три года звучит как-то эпичнее, и, по нашему мнению, большого греха в такой неточности нет, тем паче что и сам художник Каминка со временем пребывал в отношениях крайне неопределенных. Основной проблемой в этих непростых отношениях являлся тот факт, что самоощущения Каминки, как автономной единицы,

хватало на один, максимум два последних года. Существо, оставшееся за этим рубежом, носило то же имя, было узнаваемо на фотографиях, но никакого отношения к реальному существующему здесь и сейчас художнику Каминке не имело. Оно, точнее, они, ибо, учитывая периодичность вышеуказанного феномена, за прожитые Каминкой годы их накопилось несколько десятков, были неведомыми, незнакомыми, непонятными существами, чьи помыслы, надежды, чувства, поступки оставались для художника загадкой, понять которую он был не в состоянии. Отсутствие жизненного континуума было для Каминки мучительным, не только по причине отсутствия как такового, но и потому, что он был убежден в наличии абсолютного возраста, то есть возраста, в котором человек, с наибольшей силой воплощая все присущие ему черты, заданные природой параметры, наиболее гармоничен и адекватен себе самому. Подобное убеждение, очевидно подразумевающее наличие идеала и его земного отражения, пытающегося ему соответствовать, дает нам право утверждать, что художник Каминка был своего рода платоником, правда скорее, если так можно выразиться, стихийным, ибо Платона он отродясь не читал, как, впрочем, и других великих философов, делая исключение для Монтеня, коего числил не по философскому, а по беллетристическому ведомству, наряду с любимыми им Джеком Хиггинсом и Лоренсом Дарреллом. Что же касается абсолютного возраста, то Каминка полагал, что основные характеристики оногo человека несет в себе всю жизнь и любимым занятием художника было вычисление его в людях самых разнообразных возрастов. Он даже уверял, что определение этого самого возраста является непременным условием хорошего портрета. Свой абсолютный возраст он относил к четырнадцати-пятнадцати годам, но по причине вышеизложенной не мог его ни ощутить, ни прочувствовать. В результате всей этой катавасии Каминка ощущал себя человеком с расщепленным сознанием, причем сознание абсолютного большинства его «я» (кроме одного, сиюминутного) оставалось для него закрытой книгой, что было крайне досадно. Впрочем, весь этот разговор мы затеяли исключительно для того, чтобы объяснить, почему история почти трехлетней давности не оставила в нынешнем Каминке никаких глубоких следов и почему художник снова вляпался в очередную неприятность. Собственно, поначалу, изрядно напуганный, он вел себя осторожно, за языком своим следил, близко к себе никого не подпускал и, когда в Академии начались кардинальные реформы, супротив своим наклонностям не сделал ни единой попытки возразить. Проглотил, как прочие. И правильно сделал, ему что, больше всех надо? Но вот, вляпался, а теперь еще благодаря этой противной Смадар та, давнишняя, благополучно вытесненная услужливым мозгом куда-то на окраину сознания и почти забывшаяся история снова ожила, заставляя Каминку мучительно краснеть, сжимаясь от беспомощности и стыда.

* * *

Вот уже с четверть века художник Каминка преподавал в иерусалимской Академии художеств «Бецалель» рисунок и графические техники: офорт, литографию, ксилографию. Дело свое Каминка знал на славу, и это обстоятельство, а также уверенная, четкая, аргументированная манера вести занятия снискали ему среди студентов достаточно большую популярность. Частые по ходу уроков обращения к литературе, поэзии, философии составили ему репутацию интеллектуала, к которой, правда, он относился довольно скептически, охлаждая восторги словами: «Горе времени и месту, где я считаюсь интеллектуалом». Вышеперечисленные качества, вкупе с доброжелательностью, известной артистичностью и некоторым чувством юмора, нивелировали его в общем заурядную внешность, невысокий рост, брюшко, возраст и русский акцент, так что редкий год проходил без того, чтобы одна, а то и несколько студенток не влюбились бы в харизматического преподавателя. Такие влюбленности испокон веку были органичной частью академической жизни, равно как и связи между

преподавателями (по большей части мужского пола) со студентами (по большей части пола женского). Признаться, мы не видим в таких отношениях ничего плохого, если, конечно, за ними не стоит принуждение или попытка использования оных для личной выгоды. Более того, как и в любой любовной игре, мы видим в них одни только достоинства. Надо сказать, что Каминка также верил в исключительную пользу таких профессионально-любовных контактов.

«Стала бы Ханна Арендт Ханной Арендт без опыта романа с Хайдеггером?» – вопрошал он, воздевая указательный палец левой (он был левшой) руки ввысь. После секундной паузы палец делал резкое решительное движение справа налево, и, издав победоносное «Нет!», Каминка продолжал: «Может быть, и стала бы, но это была бы другая Ханна Арендт, а стало быть, и не Ханна Арендт вовсе». Подобное заявление позволяет нам утверждать, что, как и многие преподаватели, Каминка был до некоторой степени демагогом. Следует, однако, заметить, что, несмотря на такие, с позволения сказать, воспламенительные заявления, все они имели, как бы это выразиться, характер исключительно теоретический, ибо на деле с женщинами художник был робок, побаивался их, и все его приключения ограничивались в лучшем случае безобидным, ни к чему не ведущим флиртом.

Вопрос о равенстве полов, ставший в конце двадцатого – начале двадцать первого столетия одним из главных вопросов либерального дискурса в США, побочным своим результатом имел качественные изменения академической жизни и в Израиле. Угроза *Sexual Harassment* стала оружием, позволяющим добиться почти всего, начиная от лучшей отметки и кончая увольнением преподавателя, не желающего подчиняться диктату политической корректности. Поначалу Каминка отнесся к разгорающейся кампании легкомысленно и даже публично называл политкорректность синонимом ханжества и лицемерия. Идею равенства культур, да и равенства вообще, считал бредом, утверждая, что равенство – это энтропия, смерть, хаос, а жизнь вообще и искусство в частности есть иерархия, то есть организованное неравенство. Однако увольнение преподавателя анатомии, позволившего себе сказать, что молочная железа имеет свойство с годами менять свою форму, насторожило его, и, поняв наконец, куда ветер дует, художник, более всего желавший мирно дотянуть до недалекой уже пенсии, начал вести себя в соответствии с инструкцией ректората, которая запрещала любые контакты (в том числе по взаимному согласию), а также запрет на все вербальные выражения, могущие быть интерпретированы как затрагивающие то, чего затрагивать не рекомендуется.

Вряд ли мы сможем сообщить читателю нечто новое относительно того, всем хорошо известного факта, что довольно часто пружиной, запускающей в действие событие подчас и мирового масштаба, становится суцкая мелочь, пустяк какой-то, к самому событию никакого отношения не имеющий. Да, о роли случайности в жизни человека сказано столько, что нам совершенно нечего добавить по этому поводу, разве что сокрушенно заметить, что, не угораздь первокурсницу Рони Валк на первом уроке рисунка из двадцати одного мольберта сесть за четвертый слева, история наша, возможно, покатила бы по другому руслу, если бы покатила вообще. Не меньше сказано и о пагубности бездумного, косного следования привычкам. В данном случае мы имеем в виду привычку художника Каминки, обращаясь к сидящим перед ним студентам, делить их на три группы и, выбрав человека, сидящего в центре каждой группы, поочередно переводить взгляд с одного на другого. Таким образом, по его мнению, у всех студентов возникала иллюзия, что преподаватель обращается непосредственно к каждому лично. В результате именно такое ощущение сформировалось у сидящей в центре левой группы Рони Валк, ибо к ней, и только к ней были обращены слова этого странного человека. Раз за разом, вызывая незнакомое ранее, чуть ли не полубморочное состояние, в ее глаза погружался пристальный взгляд, от которого во всем теле возникали непривычная легкость и какое-то странное дрожание. Словно этот человек

открывал перед ней ворота заветного зачарованного сада, о котором она мечтала всю свою недолгую жизнь. Очень быстро Рони Валк выбилась в ряд лучших, тех, кому художник уделял больше внимания. Часто, сидя за ее мольбертом, исправляя ошибки и показывая возможные способы решения поставленной задачи, он чувствовал, как прижимается к его ноге бедро, как касается его плеча не скованная бюстгальтером грудь. Каминка старательно делал вид, что ничего не замечает. Он привык к подобным испытаниям и, если действия становились излишне активными, сообщал соблазнительнице, что она, к сожалению, слишком стара для него, а если и это не помогало, цитировал соответствующую инструкцию. Рони Валк вряд ли можно было отнести в разряд роковых женщин. Фигура ее с узкими бедрами и широковатыми плечами была скорее мальчукового покроя, и, словно по ошибке, приставленная к ней большая грудь выглядела на ней довольно чужеродно. Верхняя губа, покрытая еле заметным черным пушком, лежала на выпяченной вперед, слегка оттопыренной нижней. Как часто бывает с объективно малокрасивыми девушками, заметной ее делали глаза, большие, влажные, как у оленихи, со щеткой таких же оленьих жестких черных ресниц и радужкой настолько большой и темной, что, сливаясь со зрачком, она занимала почти всю поверхность глазного яблока, оставляя лишь легкие проблески по краям. Каминка был уверен, что предки ее не одно столетие жили на Украине или в Польше, ибо именно в тех краях неведомая мутация генов произвела тип еврейки с влажными глазами крупных копытных, черными жесткими волнистыми волосами над низковатым лбом и нежной мякотью крупных губ с темным мягким пушком на верхней.

* * *

В феврале, как раз на семестриальных каникулах, художник Каминка открыл выставку в тель-авивской галерее «Красный бык». За время жизни в стране, его листы, которые представляли собой своего рода иронические палимпсесты и отличались изысканной графической культурой, снискали определенную известность в узком кругу любителей графики.

– У тебя, Сашенька, имя хорошее, но маленькое, – сказала ему как-то его коллега по преподаванию, скульптор Мириам Гамбурд, женщина наблюдательная, с афористическим складом ума и крепкого, как подобает скульптору, сложения, – а лучше было бы плохое, но большое.

– Ладно тебе, Мирра, – попробовал отшутиться Каминка, – говорят, размер значения не имеет.

– Мало ли, что говорят, – пожалала плечами Мирьям и после легкой паузы, во время которой лицо ее приняло то озабоченно напряженное выражение, что бывает у людей, старающихся что-то припомнить, веско добавила: – Значения, может, и не имеет, но влиять – точно влияет.

И хотя в глубине души Каминка понимал, что Мирьям права и что для того, чтобы завоевать свое место под солнцем, надо в корне менять творческую ориентацию применительно к современным тенденциям, он довольствовался тем, что трогало его сердце, для которого прошлое было дороже и интереснее настоящего. Из этого факта следует, что критик, однажды назвавший художника Каминку типичным представителем провинциального реакционного романтизма, был человеком довольно проникательным. Вернисажи Каминка не любил не только по природной пугливости и робости характера, но и потому, что работы, впервые оказавшись на ярко освещенной экспозиционной стене, бесстыдно выставляли напоказ все те огрехи и просчеты, которые были упущены в мастерской. Нервный, злой, старательно притворяясь любезным, он мучительно поддерживал беседу с немногочисленными визитерами, когда в галерею ворвался шелестящий огромным букетом белых роз вихрь и кинулся ему на грудь. Она крепко прижалась к нему, и сквозь плотную зимнюю одежду его

опалил жар юного тела. И – слаб человек! – не выдержал, прижал ее к себе еще крепче и с восторгом и замиранием сердца почувствовал, как быстрый язык девушки скользнул по его зубам.

С возобновлением занятий художник Каминка старательно избегал оставаться с Рони наедине, но взгляд девушки неотрывно преследовал его, и, когда их взгляды встречались, она еле приметно улыбалась, словно сообщая пароль причастности к тайному заговору. Однажды, случайно столкнувшись на пустой лестничной площадке, она снова прильнула к нему, и опять художник Каминка ощутил полное изнеможение и невозможность, нежелание сопротивляться. Он понимал, что рискует карьерой, репутацией, вожделенной пенсией, наконец, и ужасался своей беспомощности. Он отдавал себе отчет в том, что ему, уже давно вышедшему из группы самцов, могущих рассматриваться самками в качестве возможного партнера, попросту льстит внимание девушки почти на сорок лет его моложе, но не осознавал, что на деле ему кружит голову призрачная возможность вернуть себе молодость, вновь обрести способность к безоглядному, безумному поступку, риску, ощутить веселую легкость и сознание собственного всемогущества, о которых он забыл так давно, что даже и не тосковал о них, и которые, внезапно ожив, дразнили его сейчас мгновенной своей доступностью. Вместе с тем он испытывал страх. Не только страх возможных последствий запретной связи. Это юное, лучащееся бесстыдным желанием, источающее жаркую чувственность тело заставляло художника Каминку сомневаться в своих способностях насытить его, довести до обморочного забытья, и этот страх был еще ужаснее и постыднее первого. И наконец, одна только мысль о том, что она увидит раздутую оплетку варикозных вен на его ногах, желтые брюшные складки, жирные валики на поясице, обрюзгшие, свисающие мышцы груди и рук, заставляла его губы кривиться в гримасе мучительного отвращения.

– Я почти на сорок, ты слышишь, на сорок лет тебя старше, – умоляюще бормотал Каминка, сидя рядом с Рони в крохотном ресторанчике «Чело» в нижнем конце улицы Агрон, месте, где, по его расчетам, не было шансов встретить знакомых. – Пойми, это не шутки. Я женат, счастливо женат, и вообще, мы слушаем разную музыку, читаем разные книги, нога моя не ступала в дискотеку, ну, что еще, вот, я не ем гамбургеры...

Он положил свою руку на ее запястье и тут же, словно обжегшись, отдернул.

– Разве это имеет значение? – Ее губы с влажным бликом на нижней приоткрылись, и узкая полоска белой эмали блеснула в темной каверне рта. – Я ведь тебя люблю.

– Господи, Рони, – простонал Каминка, – да подумай ты о самых очевидных вещах! Ну не двадцать мне лет... и даже не сорок! Ты что, хочешь, чтобы в один прекрасный момент я на тебе дух испустил? Тебе это надо?

– Это не важно.

– Боже мой! А что же важно?

– Важно то, – твердо сказала Рони, – что я тебя люблю.

– Рони, ты все это выдумала, – отчаянно, стараясь не смотреть девушке в глаза, бормотал художник Каминка. – Да ты хоть можешь представить себе, что произойдет, когда это выплывет наружу?

Девушка чуть надменно приподняла плечи.

– Прошу тебя, Рони, – обреченно сказал Каминка, – давай оставим.

– Но я не могу оставить. – Плечи ее опять приподнялись. – Как я могу оставить, если люблю тебя?

Каминка развел руки:

– Это безумие.

– Ну и что? – спросила Рони.

* * *

В течение следующих месяцев художник Каминка во время занятий к Рони не подходил и тщательно избегал любой возможности оказаться с ней наедине. Аудиторию покидал в сопровождении кого-нибудь из студентов, на парковку шел вместе с кем-нибудь из коллег. Три ее письма он выкинул, не вскрывая конверта. Летом Рони улетела в Грецию. В новом учебном году на занятия она не явилась, а вскоре поползли слухи, что Рони Валк крестилась и постриглась в монахини на Афоне. В конце первого семестра секретарь кафедры Ирит Нахмани, пожилая женщина с узкими раскосыми глазами, вручила Каминке подписанное ректором Академии письмо о временном отстранении от работы до выяснения обстоятельств инцидента.

– Ничего не понимаю, – художник Каминка снял очки. – Какой инцидент, Ирит?

Секретарша, явно чувствуя себя неловко, глядя куда-то в сторону, приподняла тонкие брови:

– Я не знаю, но ходят слухи...

– Какие слухи? – неожиданно высоким голосом возмущенно выкрикнул художник Каминка. – Какие... – И вдруг почувствовал какую-то странную тошноту в груди и слабость в ногах. Он сильно побледнел и, сделав неуверенный шаг к стулу, начал что-то нашаривать в воздухе правой рукой.

Ахнув, секретарша стремительно выскочила из-за стола, помогла ему сесть и через минуту вернулась со стаканом воды.

– Я не хочу, – сказал Каминка, морщась. Ему было стыдно за все происходящее, за свое соответствие затертой, сотни раз описанной мелодраматической ситуации.

– Нет, нет, лучше выпить, – сказала Ирит, и снова его мучительно резанула предсказуемость происходящего.

Он медленно, чтобы не обижать Ирит, смирившись с необходимостью вести себя в соответствии с предписанной ситуацией нормой,пил воду.

– Она ничего не сообщала, – опасливо косясь на дверь, тихо сказала секретарша, – но ходят слухи, будто это из-за вас...

Глава 4

В которой появляются тренер Гоги, гигант Муса и другие обитатели спортзала «Железный дух»

Поздно вечером, за два дня до назначенного разбирательства дела художника Александра Каминки дисциплинарным судом иерусалимской Академии художеств «Бецалель», Каминка направился в спортзал, который регулярно посещал на протяжении последних трех лет не по причине любви к спорту – к спорту он как раз относился со снобистским презрением, считая его пустой тратой времени и способом самоутверждения для тех, кому не хватает мозгов и таланта на что-либо действительно достойное. Не подлежит сомнению, что греческая идея гармонии духа и тела была чужда художнику Каминке. Причиной, заставившей Каминку изменить своим принципам, стало прискорбное состояние его позвоночного столба, приводившее к неопишуемым болям и невозможности нормально функционировать. Каминка с равной степенью безрезультатности перепробовал все – от остеопатов и массажистов до иглоукалывания и хиропрактики, – пока большой дока по проблемам спины профессор Хаим Вилькенштейн, поглядев на его СТ, не сказал: «Ваш позвоночник не в состоянии держать тело – он скоро рассыплется. Единственный выход – нарастить мышцы так, чтобы они его держали».

И вот, как уже сказано, третий год, три раза в неделю, художник Каминка конфузливо совершал разнообразные телодвижения, поднимал штангу, неуклюже махал гантелями в спортзале «Железный дух» на улице Пророков, прямо напротив Старого города. Зал этот был неким подобием ничейной земли, где мирно пересекались люди, в обыденной жизни ничего общего друг с другом не имеющие. Молодые ребята, готовящиеся к военной службе, и ультраортодоксальные евреи, поселенцы и арабы, иммигранты из США и иммигранты из России, грузинские евреи и выходцы из Франции. Кого-то привело сюда стремление к физической красоте и рельефной мускулатуре, других жажда к исцелению разнообразных недугов, были и те, кому физические нагрузки и упражнения приносили душевное успокоение. С первой же минуты своего пребывания в новом для него мире художник проникся чувством глубокого профессионального удовлетворения от возможности наблюдать изумительные в своем разнообразии человеческие типажи. Высокие и низкие, тощие и жирные, старые и молодые, они демонстрировали всевозможные формы и характеры буквально каждого органа человеческого тела, и Каминка восторженно наблюдал этот милый его сердцу парад. Недавно издавший книгу лирических стихотворений сотрудник мемориального института Яд Вашем Аарон, быстроглазый улыбчивый полковник полицейской службы Шмулик, знаменитый концертмейстер виолончелей оркестра Филармонии Кирилл, обладательница балетной фигуры Хана, неведомые художнику похожие на две субботние халы мать и дочь, сладкоречивый гигант Муса, тощая панкистка Глория, задумчивый профессор математик Исаак, инвалид без имени – все они, а также и многие другие люди добровольно истязали себя подъемом штанг и гантелей, распинали себя на разнообразных снарядах, бегали по никуда не ведущим двигающимся дорожкам, крутили педали никуда не едущих велосипедов, сгибались, вытягивались, приседали, оттопыривали зады, висели вниз головой, подтягивались с прицепленными к чреслам тяжелыми дисками, вращали руками, лежа на полу, махали задранными вверх ногами. Все эти на первый взгляд отдающие безумством действия на деле были строго систематизированы и обусловлены индивидуальными программами, составленными хозяином спортзала тренером Георгием Квартачели, которого его подопечные звали Гоги. Гоги был среднего роста крепко сбитым человеком лет пятидесяти с лишним, всегда чисто выбритым, с коротким ежиком совершенно седых волос.

Клиентами своими он командовал на иврите, русском, грузинском, английском, французском и при случае мог закрутить такое по-арабски, что жители Старого города удивленно и одобрительно цокали языками. Говорил Гоги спокойно, вежливо, без характерного грузинского акцента, тень которого проявлялась, когда что-нибудь задевало его за живое или приходилось не по душе. В последнем случае он никогда не позволял себе повысить голос, напротив, говорил медленнее и тише обычного: «Не делай так. Пожалуйста. Очень тебя прошу». И таким нехорошим холодком тянуло от этих слов, что ему не приходилось повторять их дважды. С клиентами своими Гоги находился по большей части в сугубо корректно-профессиональных, вежливо-равнодушных отношениях, и хотя некоторым из них, по той, или иной причине его интересовавшим, он, казалось, позволял подойти поближе, дистанция между ним и всеми остальными была настолько очевидна, что никто и помыслить себе не мог позволить по отношению к нему той фамильярности, которая бывает принята по отношению к барменам, тренерам, парикмахерам, тем, кого принято относить к сфере обслуживания. Образован Гоги был на удивление широко и разнообразно. Но если его очевидные познания в анатомии, медицине, психологии еще можно было объяснить родом занятий, то недюжинная осведомленность в самых неожиданных областях, начиная с истории, от древней до новейшей, в литературе, искусстве, политике вызывали в Каминке чувство уважения, смешанного с восхищением. При этом надо отметить, что решительно по всем вопросам, безотносительно того, чего они касались, Гоги имел свое собственное мнение. В своих воспоминаниях о Петрове-Водкине Владимир Канашевич заметил, что люди такого толка обычно бывают либо гениями, либо идиотами. Художник Каминка свято верил в справедливость коллеги Канашевича, но знакомство с Гоги заставило его сомневаться в истинности этого утверждения, ибо идиотом последний явно не был, но и на гения вроде все-таки не вполне тянул. Если по поводу гениальности Гоги Каминка пребывал в сомнениях, то факт, что, несмотря на всю свою образованность, к так называемой творческой интеллигенции Гоги относился с нескрываемым презрением, сомнения не вызывал. Впрочем, людям, занимавшимся изобразительным искусством, он делал известное снисхождение, хотя и прохаживался регулярно насчет трепетности и чувствительности творческих натур. Постепенно художник Каминка уверился, что с презрением Гоги относится не только к отдельным особям или слоям, но и ко всему человечеству вообще.

– Все нет, – сказал Гоги – Я людей не презираю. Я на них просто кладу. Но отношусь спокойно.

Каминка долго пытался вспомнить, кого ему напоминает Гоги. Волка, одинокого волка, но это на поверхности: каждый человек имеет свое подобие в животном мире. Кого же еще? Узнавание пришло в Ватикане, когда с одной из полок музейного зала, уставленной головами римских императоров, как полка в сельпо банками сливового повидла, на него косо взглянул император Август. Та же конструкция головы, те же маленькие, глубоко посаженные глаза, тот же прямой нос, тот же жесткий (правда, у Гоги чуть поменьше), с тонкими губами рот, тот же небольшой упрямый подбородок. Невероятно довольный собственным открытием, художник Каминка, явившись после возвращения из Рима в спортзал, решил порадовать Гоги лестным сравнением и сообщил, что наконец-то понял, на кого Гоги похож.

– На кого? – вперившись в Каминку прозрачными, с черными бездонными дырами зрачков глазами, подозрительно спросил Гоги.

– На императора Августа! – радостно заявил художник Каминка.

– Август был отморозок, – холодно ответил Гоги, – а я нет.

Кем Гоги был на самом деле, не знал никто, да и вообще о жизни его ничего известно не было, кроме того, что Гогиным хобби было изготовление ножей.

– Хороший нож – великое дело, – говаривал Гоги, любовно поглаживая сталь большим пальцем левой руки. – Войти, каждый нож войдет, а вот обратно не каждый вынешь. Нож к телу прилипает. Хороший нож, он легко выходить должен.

А еще как-то пронесся слух, что видели Гоги, и вроде не один раз, с этюдником. Будто бы увлеченно писал Гоги пейзажи на пленэре, но на любопытствующих зыркал так, что всякий интерес к изобразительному искусству у них немедленно пропадал, ровным счетом так же как у тех, кто пытался расспрашивать Гоги о его интересе к пейзажной живописи.

Впрочем, слухов о нем ходило много и самых разнообразных. Вроде как был у него университетский диплом математика, а может, электронщика, что в СССР, а затем в Грузии служил он в каких-то секретных, специального назначения подразделениях и что, поскольку числилось за ним много такого, о чем и говорить страшно, и к тому же слишком многим там наступил он на болезненные места, в какой-то момент, спасаясь от неминуемой смерти, вынужден был Гоги (благо жена – еврейка) бежать в Израиль, где на паях с вышедшим в отставку подполковником спецназа по кличке Чита открыл спортзал, в чем ему пригодились диплом тренера и звание мастера спорта по самбо. Ножевые и пулевые шрамы на руках и груди Гоги делали слухи весьма убедительными, как и истории, которыми он изредка любил шокировать своих интеллигентных клиентов. Так, однажды, вмешавшись в дискуссию о гуманизме, разгоревшуюся между сотрудником Музея катастрофы Аароном и активисткой левой партии Мерец – очкастой профессоршей социологии Орталъ, он рассказал, как в Грузии его отряд захватил заложника с намерением обменять на своего солдата, захваченного противоположной стороной. Когда стало известно, что попавшего в плен солдата пустили в расход, заместитель Гоги, отойдя в сторону, полоснул заложника ножом по глазам. Насладившись тяжелым молчанием Орталъ и Аарона, Гоги сказал: «Вот он-то и был настоящим гуманистом – заложника этого в отместку кто-нибудь из наших непременно бы пришил, а со слепым кто ж связываться будет...»

Как-то Каминка поинтересовался у Гоги, чем занимается Муса. Муса, молодой араб из Старого города, человек-гора, весь состоявший из переливавшихся под его смуглой кожей мышц, по отношению к художнику вел себя исключительно доброжелательно, почтительно осведомляясь о семье, здоровье, настроении, и Каминке захотелось хоть немного узнать об этом симпатичном, вежливом молодом человеке.

– Муса? Бандит, – сказал Гоги и насмешливо прищурился. – А что, нельзя?

Впрочем, воспоминаниям Гоги предавался редко, а от расспросов уходил. Математик Исаак, ближе других сошедший с Гоги, доверительно сказал Каминке, что от воспоминаний поднимается у Гоги температура под сорок, разламывается от нетерпимых болей голова, судороги сводят тело, и отходит от таких приступов он дня два-три, не меньше. Немногие истории, которые художнику Каминке довелось услышать, были настолько кинематографически ужасны и неправдоподобны, что заставляли его сомневаться, уж не были ли они фантазиями задержавшегося в своем развитии подростка. Сомнения эти прошли после того, как Гоги продемонстрировал какие-то свои приемы трем телохранителям, регулярно тренировавшимся в зале. Движений Гоги видно не было, но через несколько секунд трое молодых здоровых парней валялись на полу, а он стоял над ними, ухмыляясь своей сухой волчьей ухмылкой.

Во всех бедах Гоги винил зловредную руку США, Европу презирал за ханжество, слабость и желание загребать жар чужими руками, а Горбачева, развалившего Советский Союз, иначе как предателем не называл. В ходе частых в спортзале дискуссий и споров на разные темы, где последнее слово, как правило, оставалось за Гоги, художник Каминка пришел к выводу, что при всей самостоятельности и независимости мышления Гоги нравственным императивом его сознания была лояльность.

– А что, Гоги, – спросил он как-то, – представь, что родился бы ты не в конце пятидесятых годов прошлого, а в конце девятых девятнадцатого века. Закончил бы юнкерское училище. Что бы ты в семнадцатом делал?

– Красных бы резал, – не задумываясь ответил Гоги.

– А здесь тебе как? – осторожно осведомился Каминка.

– Нормально, – приподнял брови Гоги, – нормально. Скажут: бери автомат – я возьму и пойду, куда прикажут.

В результате после трех лет общения с Гоги Каминка пришел к выводу, что перед ним редкостной чистоты образец пофигиста.

Здесь мы на мгновение отвлечемся от нашего повествования, с тем чтобы обратить внимание читателя на существенное отличие пофигизма от фатализма. Их часто путают. Фатализм является верой в предопределяющее существование высшей силы, рока, фатума, судьбы, от которой никуда не деться и бороться с каковой бессмысленно. Поэтому фаталисты люди выдержанные, спокойные, но, как правило, серьезные, мрачноватые даже. Фаталист относится к судьбе с уважением, да и как не относиться с уважением к тому, что является высшей силой! Пофигизм же, он не что иное, как пофигизм. За пофигизмом не стоит ничего, кроме него самого. Настоящий пофигист кладет с прибором на все, и, что самое главное, в том числе на саму судьбу. Ну и конечно же на себя самого. Оттого пофигисты люди, как правило, легкие, веселые.

– Гоги, – спросил как-то художник Каминка, – отчего при всех своих разнообразно незаурядных талантах ты не продвинулся наверх, все равно в какой области, но наверх, и тратишь свою жизнь на ничто?

– Так вышло, – равнодушно сказал Гоги. – Жизнь меня пользовала, как микроскопом гвозди забивала. – И засмеялся.

В этот вечер художник тренировался рассеянно и бестолково. Выйдя из раздевалки последним, он столкнулся с Гоги, крутящим в руке ключ. Извинившись, Каминка проскользнул в дверь и медленно пошел вверх по улице. Был одиннадцатый час, и ночь уже окутала Иерусалим своим нежным прохладным покрывалом. Из сада Эфиопской церкви тянуло тонким, дурманящим ароматом испанского жасмина. В желтом круге света перед знаменитым йеменским фалафельным киоском толпились иностранные рабочие с питами и жестянками пива в руках.

– Что это вы, мэтр, тренировались сегодня, как вареный слизняк? – раздался позади язвительный голос Гоги. – Творческие планы одолели?

– Какие там планы, – отмахнулся художник Каминка и неожиданно для самого себя рассказал о трагедии, причиной которой он, по-видимому, являлся, и о возможных последствиях.

– Значит, так, – сказал Гоги. – Я понимаю, пацан, что ты себя винишь, но не по делу. Во-первых, неустойчивая, лабильная психика, не дай бог связаться. Во-вторых, типичный случай истерической психопатки. Главное – настоять на своем и быть в центре. Ни малейшего чувства опасности, блин, полное презрение к здравому смыслу и абсолютное отсутствие совести. Неспособность и нежелание видеть хоть на сантиметр дальше своего дорогого носа. Третье: ты, рыцарь хренов, и представить не можешь, что бы она с тобой сделала, если бы ты по слабости ей уступил. Но попотеть-то тебе придется, и, заметь, все из-за американцев. Что за народ, демократы сраные. – Гоги сплюнул. – Ты пойми, чтобы власть держать, вовсе не телеграф, почта и банки нужны. Яйца нужны. Человек, плотно за яйца ухваченный, на удивление послушен. Поверь мне, я знаю. Отсюда моральные кодексы строителей коммунизма, нацизма, феминизма и, кстати, законы твоего Августа... Повиниться тебе, пацан, придется – ну, там вовремя не просек проблему и не донес по начальству. С другой стороны, вряд ли это поможет. Ты им для примера нужен. Значит, так, дай-ка мне имя и адресок твоего ректора,

глянем, что это за мужчинка. И еще я корешу одному звякну, и ты ему отзвони. – Они остановились у стоянки. Гоги открыл свою машину, потом залез в карман вытащил мобильный, потыкал в него пальцем. – Записывай. Позвони ему сегодня же, скажи от меня. Этот адвокат не таких, как ты, отмазывал. Ну, будь здоров, не бзди.

Выслушав сбивчивые объяснения художника, адвокат задал несколько вопросов, а затем сказал:

– Перед тем как пойдете на разбирательство, справьтесь у секретарши, передала ли она ректору заказное письмо от адвоката Пичхадзе. Если нет, потребуйте, чтобы до начала разбирательства письмо было бы у него на столе. Без этого в спектакле не участвовать, ясно? И вышлите мне завтра чек на три тысячи шекелей. Учтите, сумма со скидкой пятьдесят процентов. Как другу Гоги. Привет.

Глава 5

Излагающая подробности суда над доцентом Каминкой

Утром в четверг художник Каминка явился на разбирательство. Как всегда, первым делом по приезде в Академию, благо приехал он на полчаса раньше назначенного часа, он пошел в буфет, чтобы выпить утренний капучино. Встреченные им коллеги либо, коротко кивая головой, срочно начинали торопиться по важным делам, либо делали вид, что не замечают его. В одиночестве он пристроился у окна. Внизу, за арабской деревушкой, грязно-белыми кубиками высыпанной на склон холма, лежала Иудейская пустыня.

«Интересно, почему я совершенно ни о чем не думаю? – думал художник Каминка, тупо глядя на хорошо знакомый ему пейзаж. – Ну совершенно ни о чем не думаю, а ведь надо бы подумать. Хотя бы о том, что я скажу. Ведь надо будет что-то сказать. Что-нибудь сказать. Что-нибудь сказать. И о пейзаже я не думаю. Смотрю и не думаю. Ни про цвет, ни про ритм, ни про историю. Здесь ведь все история, а я не думаю...»

Из оцепенения его вывел резкий голос Анат, секретарши ректора:

– Ну что же это вы, Каминка!

Художник вздрогнул и очнулся:

– А что...

Секретарша, высокая полная дама лет тридцати, не разжимая губ, процедила:

– Что? Все вас ждут. А вы кофе тут пьете.

Художник Каминка растерянно посмотрел на картонный стакан нетронутого, уже холодного капучино, вскочил, замешкался на секунду, не выпить ли кофе – у него внезапно пересохло во рту, – но секретарша уже повернулась и, покачивая обтянутым фиолетовыми тайцами широким задом, между которым и розовым топилом блестела полоска голой спины, двинулась в сторону ректората. Художник Каминка послушно поспешил вслед за ней. Какое, в сущности, рвотное сочетание этот розовый и фиолетовый... Они прошли по коридору, завернули направо в приемную, секретарша, кивнув на дверь ректора, двинулась к своему столу, и тут Каминка вспомнил про письмо.

– Ректору письмо должно было прийти, – сказал он и поморщился, услышав свой заискивающий голос, – от адвоката письмо. С нарочным.

– Вы не слышали разве, вас ждут, – не глядя на него, сказала секретарша, садясь на свое место.

– Нет, нет, – заторопился художник Каминка, – это важное письмо, посмотрите, пожалуйста. Оно... Я тогда вообще не пойду! Там дата стоит, оно заказное, вы обязаны...

Секретарша оценивающе взглянула на занервничавшего преподавателя. Инстинкт самосохранения, обостренно развитый у большинства чиновников, подсказал ей, что передача письма, даже если и будет перестраховкой, ущерба точно не принесет. Кивнув головой, она порылась в стопке бумаг, лежавших на правой половине стола, выудила желтый конверт, вложила его в синюю папку и, громко стуча каблуками, вошла в кабинет ректора. Художник Каминка проскользнул за ней внутрь и, пробормотав: «Здрате всем», пристроился на свободном стуле у дальнего конца стола. Во главе стола располагался ректор Юваль Янгман, человек из породы мужчин, на которых всегда хорошо сидит костюм, с властным лицом, крупным носом и брезгливо припущенными углами губ. Справа от него протирала очки генеральный директор Академии Яаара Бар Он, яркая, лет под сорок, молодо выглядящая брюнетка, с жестко очерченным красивым ртом. Рядом с ней что-то рассматривала в мобильном телефоне декан Глория Перельмуттер. Напротив них сидели представитель-

ница союза студентов красочка Орли Пелед и председатель профкома преподавателей Арье Курцвайль, седобородый сухой старик в вязаной кипе, непонятно как державшейся на лысом блестящем куполе головы. Голубоглазая блондинка с оттопыренной круглой попкой и манерами королевы класса, Орли запомнилась художнику Каминке двумя столкновениями. Первое произошло в самом начале года, когда во время обсуждения работ – упражнение на построение основных форм – в ответ на критику Орли, капризно дернув плечиком, сказала: «Это моя работа, это мое персональное видение и мое право воплощать его так, как я считаю это нужным». Почувствовав, что его начинает заносить, но не в силах сдержаться, художник Каминка злобно прошипел:

– Послушай, девочка, я зарплату получаю не для того, чтобы пошлости выслушивать, а для того, чтобы попытаться студентов хоть чему-нибудь научить. – И, косо взглянув на Орли, добавил: – Даже если они выглядят, как Барби из недорогого магазина.

Увидев, как вспыхнули щеки девушки, он немедленно пожалел о своих словах, но было поздно. В другой раз, после того как среди имен художников, рекомендованных для домашней работы, он назвал Ренуара, Орли недоуменно, с оттенком возмущения даже, спросила:

– Как можете вы его рекомендовать?

– А в чем дело? – удивился художник Каминка.

– Но он шовинист!

– Откуда вы это взяли?

– Это то, что мы проходили по истории искусств.

– А что вам еще известно об этом художнике? – вкрадчиво поинтересовался Каминка.

И снова щеки Орли Пелед запылали румянцем...

Расклад складывался явно не в пользу Каминки. Единственная надежда его была на преподавателя черчения, старого Арье. Многие годы назад ребенком Арье оказался в числе евреев, спасенных датскими рыбаками от неминуемой смерти в нацистских лагерях. Возможно, этот благородный поступок рисковавших своей жизнью людей научил Арье никогда ни от чего не оставаться в стороне. Поблескивая серыми глазами, с равным упорством он отстаивал права уборщицы-арабки, боролся с коррупцией и требовал изменения системы власти. В течение многих лет он был членом правления Израильского общества защиты прав граждан, бессменным председателем профкома преподавателей Академии, вечным ходатаем по чужим делам, и появление его щуплой фигурки с задиристо задранной кверху седой бородашкой не обещало противной стороне легкой жизни.

Художник Каминка бросил взгляд на стол. На синей бумажной скатерти, как обычно, стояли пластмассовые тарелки с печеньем и бурекас, жестянки соков и колы, бутылки минеральной воды и соды. Наличие легких напитков на столе совещаний является мудрым и дальновидным установлением. Пересохший рот, жажда, даже просто желание ополоснуть рот не должны отвлекать участника заседания от пристального внимания к вопросам, ради которых он, собственно, и присутствует на встрече. Вопросы эти, как правило, требуют обсуждения, и участники, не щадя времени своего и усилий, дискусируют и спорят, дабы в результате принять наилучшее из всех решение. Однако в процессе дискуссий рот участников пребывает в открытом состоянии много чаще, чем в обычной жизни, и это способствует пересыханию нежных слизистых тканей ротовой полости, что, в свою очередь, является причиной некомфортного состояния присутствующих, которое повышает нервозность и без того взволнованных людей и в результате может привести их к необдуманным заявлениям и даже поступкам. Поэтому наличие легких напитков имеет не только практический, но и отчасти терапевтический эффект. Человек спокоен, он может полностью отдаться делу, к которому призван, не будучи озабочен вопросом, как ему поступать в случае приступа жажды и где именно ее возможно утолить. Опять же, выход из зала заседаний в разгар обсуждения может быть истолкован самым превратным образом и привести к тому, что Бог знает каким послед-

ствиям. Итак, напитки на столе необходимы, но зачем еда? Ведь, как правило, заседания проводятся не в отведенные дневным распорядком для принятия пищи часы. К тому же процесс поглощения еды обычно сопровождается разнообразными малоэстетичными звуками и способен отвлечь от дискуссии не только того, кто этим процессом занимается активно, но и тех, кто принимает в нем, так сказать, пассивное участие. Вид жующего человека, если, конечно, это не любимая женщина, как правило, малопривлекателен. Порой пища застревает у него между зубами (что никак не может произойти с напитками), и для извлечения оной человек производит разные движения щеками и языком, чмокает, щелкает, а то еще, пытаясь облегчить бедственное свое положение, залезает в рот пальцем и ковыряется там, ковыряется... Опять же на скатерть, а то и на одежду изо рта падают крошки или того хуже – куски еды, и тогда...

– Дамы и господа, – низкий голос ректора вернул вздрогнувшего от неожиданности Каминку к действительности, – мы собрались, чтобы обсудить дело о возможном нарушении закона о сексуальных домогательствах, – ректор откашлялся, – в котором есть основания подозревать старшего преподавателя Каминку. Прошу вас.

Первой выступила Орли Пелед. Из ее взволнованной речи вырисовывалась малопривлекательная картина безответного первого чувства юной романтической девушки и равнодушной, пренебрежительной реакции сконцентрированного на себе, самовлюбленного бонвивана.

– Она была в него влюблена, сохла по нему, все это видели! А он ее чувства в грош не ставил, он в ней не видел женщину, он вообще ее не замечал! И вот, по вине этого человека Рони совершает духовное самоубийство! – Голос Орли дрогнул, и ее указательный палец коснулся нижнего левого века.

Присутствующие, включая художника Каминку, сочувственно вздохнули. После внушительной паузы слово взяла Яаара Бар Он. Ее короткая речь сводилась к тому, что Академия, как жена Цезаря, должна быть выше подозрений, что дыма без огня не бывает и что, даже если прямых доказательств вины Каминки не существует, он виноват уже в том, что именно его, а ничье другое имя, оказалось тем или иным образом причастным к трагическому, с одной стороны, и возмутительному, с другой, происшествию. Яаару горячо поддержала Глория Перельмуттер, заметив, что более чем трудно представить себе юную девушку, влюбленную в мужчину в два с лишним раза старше ее, но совсем нетрудно представить себе старого сластолюбца, манипулирующего неопытным ребенком, и, даже если представить себе невозможное, старший преподаватель Каминка в качестве воспитателя был обязан помочь студентке, в частности у него была превосходная возможность немедленно уволиться и ответить на ее чувство, не бросая тень на учебное заведение, которое сделало для него все и даже больше и которое он отблагодарил таким возмутительным способом. Последним говорил Арье. Сказав, что им, человеком религиозным, эта история воспринимается особенно остро, он отметил, что, кроме неясных слухов, никаких доказательств сексуальных домогательств с использованием служебного положения не имеется, что за многие годы работы преподаватель Каминка зарекомендовал себя лучшим образом, что есть ситуации, в которых постороннее вмешательство только может их ухудшить и лучшее, что может сделать в данном случае администрация, это спустить дело на тормозах.

– Я предлагаю обойтись устным порицанием за недостаточное внимание к состоянию... э, как бы это сказать... к внутреннему миру учащихся.

– Что вы, старший преподаватель Каминка, можете сказать по существу дела?

Художник Каминка не сразу понял, что эти слова ректора обращены к нему. Все это время звуки, из которых состояли слова, проходили сквозь него и исчезали, не оставляя никакого следа, никакого отклика.

– Понимаете, – сказал он, ему вдруг очень захотелось пить, но он не осмелился протянуть руку к бутылочке минеральной воды, стоявшей рядом с ним. – Понимаете, мне ужасно жаль... Это, конечно, трагедия, такая трагедия... Но я... Я просто... Ну, что я мог сделать... – Он неловко, боком встал со стула, открыл рот, будто хотел что-то сказать еще, но, ничего не сказав, повернулся и пошел к двери. Уже взявшись за ручку и приоткрыв дверь, он снова вспомнил о письме и, повернувшись, сказал: – Господин ректор, там у вас письмо в синей папке. Прочтите. – И тихо прикрыл за собой дверь.

Чутьем ректор не уступал своей секретарше. Какое-то время он задумчиво смотрел на дверь, потом надел очки, вынул из синей папки конверт, распечатал, достал сложенный втрое лист бумаги, раскрыл, пробежал глазами, затем нагнулся к Яааре, показал ей письмо и, когда она прочитала его, сунул себе в карман.

– Итак, какие предложения, кроме высказанного Курцвайлем, мы будем рассматривать?

– Уволить с позором! – воскликнула Глория Перельмуттер и потрясла зажатым в руке мобильником.

– Другие предложения? Нету? Тогда я ставлю на голосование. Кто за предложение г-жи Перельмуттер?

В воздух поднялись руки Орли и Глории.

– Кто за предложение Курцвайля?

Яаара, Арье и ректор подняли руки.

– Принято.

– Но как же... – возмущенно всплеснула руками Глория Перельмуттер, – ведь...

– Объявляю заседание закрытым. – Ректор поднялся из-за стола и тяжело взглянул на Глорию Перельмуттер.

– Всего доброго.

После того как все покинули кабинет, ректор несколько минут сидел молча, крутя в руках желтый конверт, потом нажал на кнопку связи:

– Анат, скажи Каминке, чтобы зашел.

– Откуда вам это известно? – Он протянул письмо художнику.

– Что это? – пробормотал Каминка, разворачивая письмо.

Он быстро пробежал строки о неправомерности обвинений без доказательств, об обращении в суд в случае увольнения и... вот оно: «Нет сомнений, что в случае суда на свет выплывут действительные факты сексуальных домогательств, в том числе при использовании служебного положения. В качестве свидетелей несомненно будут вызваны ректор Академии Юваль Янгман и генеральный директор Яаара Бар Он». Каминка еще раз перечитал эти строки и, вложив бумагу в конверт, положил его на стол ректора.

– Откуда вам это известно? – повторил ректор.

– Я не понимаю, о чем вы говорите, – глядя в глаза ректору, честно сказал художник Каминка.

Ректор вложил конверт в карман и с интересом взглянул на стоящего перед ним человека. В глазах его промелькнуло что-то похожее на уважение.

Он встал и протянул руку:

– Всего доброго, старший преподаватель Каминка.

– Всего доброго, господин ректор.

Выезжая из ворот кампуса, Каминка испытывал довольно обширный и разнообразный набор ощущений. Облегчение от того, что пронесло, благодарность Рони за то, что не заложила его, гнев за то, что из-за нее он подвергся этим унижениям и мукам, благодарность Арье и Гоги, но самым сильным и ярким ощущением был стыд.

Глава 6

Рассказывающая о юности одного из героев повествования

Художник Каминка нечасто вспоминал свою жизнь в городе Ленинграде, где родился и жил до тридцати лет. А когда вспоминал, она представлялась ему чем-то вроде калейдоскопа, любимой его детской игрушки, где при каждом, даже самом легком движении волшебные зеркала создавали новые, всякий раз неожиданные, непредсказуемые узоры. В этом виртуальном калейдоскопе танцевали на асфальте солнечные зайчики, светила в окна его комнаты реклама «ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ», толкалась в гранитную набережную отливающая тусклым металлическим блеском плотная невская вода, мерцали в темноте огоньки трамваев, взлетал к небу волейбольный мяч, вились следы велосипедных шин на мягкой белой пыли грунтовой дороги поселка Сосново, и много всего другого возникало в его рваной, словно испорченная лента документального кино, памяти: осенние прелые листья, веселая толкучка мелких пузырьков в стакане золотистой газированной воды с сиропом дюшес, стук старинных напольных часов в столовой и летящий за школьным окном тополиный пух.

Но чаще всего, пожалуй, он видел во сне снег. Апрельский – в черных полосах гари и рыжих пятнах размытой весенними ручьями земли, обреченно лежащий в садах и на обочинах дорог; рассыпчатый, сухой, с геометрическими узорами лыжных следов, веселыми искрами сверкающий под солнцем – февральский; первый робкий, неуверенно пробирающийся в темный замкнувшийся город – ноябрьский; декабрьский – воющий, колючий, жалящий тысячами злобных укусов; и январский... Легкий, элегантный, изысканный, он накидывал серебристую вуаль на деревья в парках, ворсистым ковром выстилал лабиринт рек и каналов, сияющим мехом укутывал дома и автомобили, и лучший в мире кордебалет Мариинки смиренно склонял свои лебединые шеи перед феерическим балетом снежинок, разыгравшимся на площади перед театром.

Каминка бесконечно любил свой фантазмагорический призрачный город, любил его в любую погоду, в любое время года, и все же одинокие ночные прогулки по заснеженным набережным каналов он, пожалуй, любил больше, возможно потому, что снег означал наступление нового, полного неожиданностей и сюрпризов года... К его удивлению, со временем, уже в Израиле, в редкие эти калейдоскопные морозные видения все чаще вплеталась музыка Чайковского. Петра Ильича. Надо сказать, что по молодости лет художник Каминка к композитору Чайковскому (как, впрочем, к Шопену или Мендельсону) относился пренебрежительно, полагая его музыкальным аналогом архитектора Штакеншнейдера, которого он также ставил не слишком высоко. Юный Каминка восхищался архитекторами Борромини и Гауди, поклонялся Баху, бегал на премьеры Шостаковича, но, хотя много чего он слышал и видел за те самые тридцать прожитых в Питере лет, именно бездонное черное небо, редкие, одиноко светящиеся окна, белым маревом окруженный лабиринт улиц, скованная льдом паутина каналов и вытанцованная снежинками мелодия нелюбимого в юности композитора создали формулу, таинственные знаки которой хранили и берегли его молодость, его детство.

Как мы уже говорили, воспоминания не имели привычки вторгаться в его сегодняшнее существование, более того, он искренне отказывался считать то, ушедшее в никуда, в условное пространство волшебных стекол несуществующего калейдоскопа, время частью своей жизни и не видел между собой сегодняшним и бродившим вдоль заснеженных каналов юношей никакой связи, тем не менее если кто-нибудь попросил бы его подвергнуть анализу и обозначить основную черту того зазеркального персонажа, то, поразмыслив, художник

Каминка скорее всего назвал бы ощущение инакости, чуждости и страстное желание от него избавиться. То, что ощущение это не было персональной рефлексией, но объективной реальностью, подтверждалось синяками, выбитыми зубами и прочими травмами разной степени тяжести, получаемыми им по разнообразным поводам и, в частности, по причине непринадлежности к титулярной нации. Меж тем юный Каминка не просто жаждал приобщения и слияния. Его сердце искренне трепетало при виде берез и осинок, замирало от восторга при виде Покрова на Нерли, тосковало вместе с протяжными народными песнями, открывалось навстречу стихам Блока и Есенина (читатель несомненно почувал, что герой наш был натурой довольно эклектической). В раннем детстве произведения Репина, Верещагина и Брюллова производили на него впечатление значительно большее, чем работы Сезанна, Тициана или Рембрандта, в чем впоследствии он упрекал родителей, утверждая, что водить его надо было в Эрмитаж, а не в Русский музей, хотя справедливости ради надо отметить, что упрек этот совершенно неуместен и вообще Русский музей попросту был гораздо ближе к дому. Узнав, что в Русском музее с целью изучения русского культурного наследия организуется патриотическое движение «Родина», он немедленно туда записался. Движение, однако, завяло сразу после учредительного заседания: вид горящих патриотизмом черных семитских глаз подавляющего большинства юных участников изрядно покорибил учредителей. Крах всех попыток стать своим (будь то движение «Родина», пионерский отряд или дворовая компания) привел его к смиренному принятию своей участи изгоя. Тогда и начались его одинокие блуждания по улицам, набережным, паркам. Город не отталкивал мальчика, он милостиво позволял себя любить, и стосковавшийся по любви, по чувству причастности подросток полностью отдался своей первой страсти. Осознание того, что «другой» может быть не клеймом и позором, а предметом гордости, пришло к нему во Дворце пионеров, в кружке рисования. Горделивое ощущение принадлежности к замкнутой касте, обычно сопутствующее любым объединениям, от альпинистов до коллекционеров фантиков, усиливалось тем, что кружок, которым руководил быстрый в движениях человек с орлиным носом и крыльями выгнутых кустистых бровей, в корне отличался от всех других кружков и художественных школ. Он, Соломон Давидович Левин, был отчетливой оппозицией принятой системе преподавания искусства. От разгрома кружок, скорее всего, спасали бесконечные золотые медали, которые питомцы Левина регулярно получали на международных выставках – международный престиж власть ценила. Кумирами этих юных дарований были постимпрессионисты, с плохо скрываемой ненавистью терпимые официозом, и в первую очередь конечно же Ван Гог, художник, жизнью заплативший за верность своим принципам. Третий этаж Эрмитажа с его коллекцией французских художников конца девятнадцатого – начала двадцатого века стал местом паломничества юных художников, горевших желанием творить актуальное, новое искусство. То, что со времен кубизма и фовизма искусство ушло далеко вдаль, большинству из них, по причине отсутствия информации о том, что в мире творится, в голову как-то не приходило. Окончив школу, юный Каминка поступил на факультет промышленной графики Мухинского училища, нынешней Академии Штиглица. Академия художеств, оплот соцреализма, ничего, кроме презрения, у него не вызывала, а промграфика представлялась приемлемым компромиссом. Неожиданно для себя самого он увлекся графическими техниками и все свободное время пропадал в графических мастерских. После окончания училища он по недоразумению был принят в молодежную секцию Союза художников, но через год исключен за формализм. Надо сказать, что исключение нимало его не огорчило, напротив, оно было чем-то вроде награды, первым стигматом, полученным за преданность истинной вере, первым почетным тернием на пути по Виа Долороза подлинного искусства.

Молодость принято считать лучшим периодом жизни. Однако принять это суждение за истину мешает тот факт, что высказывается оно, как правило, именно что в пожилом возрасте. Меж тем, если попытаться взглянуть на человеческую жизнь непредубежденно,

отбросив столь понятную в зрелые годы возрастную ностальгию, мы вынуждены будем признать, что юность – пора трагическая, и лишь благословенной способности человека забывать страдания, горести и боль обязаны мы существованию этого симпатичного клише. И тем не менее похоже, что, несмотря на все проблемы, как объективного (советская власть, еврейское происхождение), так и субъективного (любовные терзания, сомнения в себе и своем таланте) характера, молодость художника Каминки воистину была счастливой порой. В детстве его родители, воспитывая мальчика и его старшую сестру в соответствии со своими (в сущности, верными) понятиями о добре и зле, не препятствовали их наклонностям и поиску собственного пути. Едва кончив школу и поступив в институт, он обзавелся мастерской в мансарде дома на углу Обводного канала и Лиговского проспекта – редчайшее счастье в эпоху, которая для личной жизни оставляла чердаки, парадные и кусты в парках. Все дни напролет он проводил в мастерской. Сознание того, что свои работы он «писал в стенку», что им не суждено быть выставленными, увиденными, нимало его не смущало. Он работал не для выставок, не для карьеры, не для успеха: он был верным адептом истинного искусства, он алкал истины, он хранил верность принципам, за которые клали свою жизнь на алтарь великие творцы русского авангарда: Филонов, Древин, Удальцова, за которые гнил на Таити Гоген, голодали в Париже Модильяни, Сутин и Хуан Грис. Чтобы прокормиться и дабы не попасть в тунеядцы, что грозило уголовным преследованием, он устроился работать. С работой ему повезло: его обязанностью было наблюдение за уровнем воды в Неве. Каждый день, в семь утра, он подходил к мосту лейтенанта Шмидта, спускался в комнатку, находившуюся в одном из быков, поддерживавших мост, и звонил по телефону в отдел транспорта и безопасности Ленгорсовета. На том работа его заканчивалась. Деньги были грошовые, зато времени служба много не отнимала (разве что в дни наводнений, когда он должен был отправлять сообщения ежечасно), и практически вся неделя принадлежала ему одному. Будучи на последнем курсе, он женился на своей бывшей однокласснице, ранее как и он учившейся во Дворце пионеров. Вечерами художник Каминка возвращался из мастерской домой, где его ждала любимая женщина, и, глядя на их объятия, растроганно улыбался с дешевой репродукции, пришпиленной к обоям над изголовьем кровати, суровый Ван Гог. Короче, вряд ли кто-нибудь может оспорить то, что художник Каминка был счастлив. Так и текла его жизнь, радостно и безмятежно, пока однажды вьюжным, темным ноябрьским днем дверь его мастерской (она была тогда в Солдатском переулке) не распахнулась и на пороге не возникла засыпанная мокрым снегом кряжистая фигура художника Игоря Иванова.

Глава 7

В которой художник Каминка встречает второго главного героя этого повествования – художника Камова

Впереди появился указатель «Эйн Фешка». Художник Каминка свернул налево, припарковал машину на почти пустой стоянке оазиса и вышел. Воздух отвесил горячую оплеуху холодному от кондиционера лицу. «Господи, и за каким дьяволом я поперся сюда в такую жару?» Он купил билет и медленно поплелся к морю. В белесой воде недопеченными лепешками плавали тела лежащих на спинах купальщиков. Около киоска несколько человек, вымазанных черной целебной грязью, кривлялись перед фотокамерой. Каминка наклонился: маслянистая вода была до омерзения горячей. «Выгнать меня, – подумал он, выпрямляясь и вытирая пальцы о брюки, – будет не так-то просто». Его рейтинг по опросам студентов на протяжении многих лет был самым высоким в «Бецалеле». Обвинить в неэтичном отношении к своим ученикам тоже не получалось – пятничные занятия он проводил бесплатно. Но вот повод по обвинению в неэтичном поведении по отношению к руководству Академии, как ни крути, имелся.

Дальний берег за неподвижной пленкой тусклой воды чуть шевелился, словно нарисованный на легкой ткани.

Ну и жара – художник Каминка смахнул с кончика носа каплю пота. С чего он вообразил, что именно здесь ему в голову придет какая-нибудь стоящая идея, какая-нибудь толковая мысль? Голова как была пустой, так и осталась... А может, сделать пустую голову? Нет, не пройдет, скажут – иллюстративно. А может, сделать дырку от бублика? Да еще и без бублика? Каминку начало мутить. На кончике носа образовалась новая капля. Жарко, господи, как же жарко! Пива, что ли, выпить? По крайней мере, там хоть кондиционер... Он утер каплю, повернулся спиной к маслянисто поблескивающей неподвижной воде, обошел большую бочку с целебной грязью, у которой радостно топтался весело регочущий табунок блондинистых девиц, и медленно побрел к бару. Зашел в туалет, сполоснул холодной водой лицо, увидев в зеркале опухшую красную физиономию с мешками под глазами, привычно поморщился: хорошо бы пить поменьше, – утерся бумажным полотенцем и отбросил влажный комок в пластиковое ведро под раковиной. В баре никого не было, за исключением пары краснокожих скандинавов, которые, небрежно разбросав в стороны длинные ноги, тянули светлое пиво. Каминка взял свою кружку и, в надежде побыть одному, завернул за стойку бара направо. Увы, и там, в углу за столиком, у самого окна темнела какая-то фигура. Досадливо растянув губы, он сел спиной к окну, жадно втянул в себя холодную кислотоватую жидкость и поставил запотевшую кружку на белый пластик стола. Утерев рот, он с наслаждением вдохнул прохладный щекочущий воздух, откинулся на спинку стула, оттянул рубашку и блаженно улыбнулся, почувствовав, как холодок пробежал по горячей коже, потом потянулся за кружкой, поднес ее ко рту и неожиданно для себя самого повернулся в сторону посетителя, сидевшего в углу.

Голову его венчала белая потертая ушанка, шнурки которой лениво, словно по обязанности, шевелила струя прохладного кондиционированного воздуха. Руки большого туловища, охваченного старым, засаленным, когда-то черным ватником, покоились на несколько неуместном в данном контексте потертом коричневом вельвете, обтягивавшем широко расставленные ноги в лыжных ботинках. Лыжи и лыжные палки, прильнув к мраморному полу, утомленно растянулись у ног хозяина. Расколотый твердой линией носа иконописный овал

лица был накрепко стянут серебристой тесьмой коротко стриженной бороды. Голубые глаза безмятежно глядели в розовую, вибрирующую от жары ленту Моавского хребта. Тяжело опершись левой рукой на стол, Каминка неуклюже выдвинул свое, вдруг ставшее непослушным тело из-за стола, медленно опустил блеснувшую золотом кружку на белый пластик и неверными шагами направился в сторону незнакомца. Подойдя, он взгляделся в спокойное лицо и каким-то тихим, севшим голосом пролепетал:

– Мишенька, ты ли это?

Не поворачивая головы, человек скосил глаз на нелепо растопырившего руки Каминку, и округлый, поднявшийся из самой глубины его широкой грудной клетки басок, прокатившись по туннелю трахеи в сводчатый зал ротовой полости, вырвался наружу ласковым гулким курлыканьем:

– Кто ж еще, Сашок, понятное дело, я!

Каминка как-то по-бабьи всплеснул руками, всхлипнул, обмяк, медленно сполз на пол и, прильнув к обтянутым коричневым вельветом коленям, разрыдался. Художник Камов (а это именно что и был художник Михаил Камов) возложил свою правую руку на голову Каминки, легонечко потрепал ее и проворковал:

– Лысеешь, Сашок?

– Лысею, – счастливо хлюпнул носом Каминка, – Мишенька, и вправду... А откуда ты и как сюда попал-то?

– Из России на лыжах, – удивляясь несообразительности друга, ответил Камов. – Это у вас тут теплынь, а у нас – снега. Однако, похоже, промахнулся маленько: я ведь в Меггидо шел, а это, так понимаю, Мертвое море. – Он, словно не веря своим же словам, покачал головой. – Невероятное, удивительное место! В древности его еще звали Асфальтовым. Уникальнейший состав этой воды и грязи тысячи лет...

– Мишенька, – робко перебил его Каминка, – а зачем ты сюда пришел?

– Я-то? – переспросил Камов.

– Ты, Мишенька.

– Увидеть, – лаконически ответил Камов и, ласково погладив Каминку по голове, добавил: – Увидеть, Сашок, и поучаствовать.

* * *

Ночью, беспокойно ворочаясь на сбитых влажных простынях, Каминка пытался понять смысл слов «увидеть и поучаствовать». Увидеть – это, в общем, понятно: святые места все-таки. А вот «поучаствовать» вызывало резонный вопрос: в чем именно? – и здесь Каминка затруднялся найти ответ. Самым очевидным представлялась битва Гога с Магогом, о которой в последнее время повадились судачить российские СМИ, цитируя знаменитую предсказательницу старицу Софью Радышевскую, напороочившую ее на конец этого года. На осторожный вопрос Камов только загадочно улыбнулся. Так что, возможно, имелось в виду участие в каком-нибудь очередном фестивале или выставке, которым счета не было в этой стране. А может, на пороге стоял какой-нибудь христианский праздник?

Дорога в Иерусалим заняла немного времени. На блок-посту машин было мало, и только «Стражи Кашрута» – несколько одетых в черные халаты мрачных людей ненадолго задержали машину, проверяя ее на предмет наличия квасного.

– Это кто? – поинтересовался Камов, с любопытством разглядывая их исполненные высокомерия и подозрительности лица.

– Бандиты, – мрачно ответил Каминка.

– Арабы? – полуутвердительно понизил голос Камов.

– Евреи, – злобно процедил Каминка. – Дорвались до власти. Еда – под контролем. Питье – тоже. Позировать на обнаженку или рисовать – уголовное преступление. Скоро портрет запретят. – И добавил уж совсем непонятное: – Рука руку моет.

Художник Камов приподнял бровь, но, явно решив не мешаться в чужие и непонятные ему проблемы, тактично промолчал.

Через несколько минут машина пересекла трамвайные пути, проскочила под мостом и остановилась на красный свет светофора. Слева, справа, всюду высились коробки домов, чьи стены, словно пластины мацы, были выстелены золотистыми бугорками камней с черными пятнышками окон.

– Это...

– Да, Иерусалим, – буркнул Каминка, явно пребывавший в дурном состоянии духа после встречи со «Стражами Кашрута».

Художник Камов открыл дверь, тяжело кряхтя вылез из машины и выпрямился. Красный свет сменился желтым, затем зеленым. Не обращая внимания на сигналы автомобилей, он стянул с головы ушанку, медленно перекрестился и, под аккомпанемент истерического воя гудков с трудом опустившись на колени, припал губами к серому асфальту. Совершенно не ожидавший такого развития событий, перепуганный художник Каминка стремительно выскочил из машины и, всем телом делая извинительные знаки возмущенным водителям, оторвал художника Камова от земли и втолкнул его в машину:

– Да ты что, Миша, спятил... – И оборвал себя: из голубых глаз Камова текли слезы.

Проскочив по бульвару Бегина, около стадиона они повернули направо, затем перед скульптурой Никки де Сен-Фалль («И вас чаша сия не миновала?») – поморщился художник Камов. «Где уж, Мишенька», – хмыкнул художник Каминка) налево, въехали в узкую улочку и остановились около небольшого двухэтажного домика с маленьким садиком за каменным забором.

– Вот и приехали.

С шумом ввалились они в дом:

– Нина, Нина! У нас гости!

Немолодая худошавая женщина, сидевшая за столом, удивленно взглянула на Каминку, перевела взгляд на гостя и, неожиданно залившись краской, встала и протянула ему руку.

Художник Камов, медленно стянул ушанку с головы и приложился к руке.

– Не обращай внимания, – счастливо рассмеялся Каминка, – он ведь из России! Вот, лыжи поставим сюда, придержи, Нина, и ватник снимай, у нас, слава богу, не холодно. А вот и мама. Мама, ты Мишу помнишь? Это Миша! – прокричал он в ухо сморщенной, крохотной старухе с редкими прядями пожелтевших волос.

– Вижу, вижу, – пробормотала старуха. – Как?

– Миша! Миша Камов!

– Моше. – Старуха неуверенно улыбнулась склонившемуся к ней Камову.

– Очень, очень радостно видеть вас, – заклекотал он. – Я ведь вас хорошо помню, и дом ваш на Пушкинской...

– Нина! – суетился Каминка. – Нина! Накроем в садике? Ты, Миша... ох, как же я забыл! Ты ведь вегетарианец, а у нас, кроме зеленого салата, помидоров и картошки, ничего, кажись, такого нету, даже огурцов...

– Увы, Сашок, – скорбно приподнял брови Камов, – прошло. Ем теперь все, и братьев наших меньших поглощаю бестрепетно.

– Вот и чудно, – обрадовался Каминка, – значит, аль а эш, по-нашему – мангал!

Долго сидели они под серебристым облачком большой оливы. Тридцать лет – большой срок, и не всяким людям, как бы близки они ни были раньше, удастся перекинуть через него зыбкий, непрочный мост, дабы призраки когда-то пылких чувств, душевных привязан-

ностей, совместных устремлений, перебравшись по нему из скрытого сгустившейся тьмой времени прошлого на здешний, сегодняшний берег, вновь смогли вочеловечиться и прорасти в постаревшей на тридцать лет душе. Но нежной голубизной светящиеся ласковые, погрузневшие за эти годы глаза, и это, такое знакомое, такое любимое курлыканье стерли, а, может, правильнее сказать, на какое-то время отодвинули в сторону прожитые порознь непростые, трудные годы, и радостный смех, неожиданная распахнутость и веселость Каминки были чудесным сюрпризом для искоса удивленно поглядывающей на него Нины, настолько этот живой, с легкими мальчишескими ухватками человек не походил на обычно озабоченного, молчаливого, погруженного в свои печальные мысли художника Каминку.

До позднего вечера просидели они во дворике. Росший за оградой старый кипарис разрезал косой тенью двор надвое, а когда солнце покатилося за Иудейские горы, вниз к Аялонской долине, к запаху дыма и жареного мяса примешался аромат растущих вдоль забора лавров, тимьяна, розмарина и еще каких-то, никому, кроме ботаников, неведомых представителей иерусалимской флоры.

Как мы уже говорили, Каминка страдал своего рода амнезией, которая позволяла ему ощущать себя целокупной личностью не более пары лет. Человек, которого три года назад звали Александр Каминка, был ему таким же чуждым и непонятным, как люди, жившие на соседней улице, сослуживцы и те, чьи имена он читал на надгробных плитах, послушно плетясь по кладбищенской аллее за телом очередного друга, родственника, знакомого. Но явление Камова произвело на него удивительный эффект, словно сухие, давно отшелушившиеся с поверхности его души клетки внезапно регенерировали и прошлое всем огромным, не поддающимся исчислению весом обрушилось на него, заставляя вновь испытывать чувства, нынешнему Каминке неведомые. Возможно, именно из-за душевной сумятицы он не сразу заметил, что гостю большого труда стоит сидеть на стуле. Черты лица Камова заострились, складки стали глубже, глаза провалились внутрь.

– Господи, – всплеснул руками Каминка, – да ты сейчас рухнешь! Я ведь тебе и вымыться с дороги не предложил! Нина! Нина! Готовь ему постель!

Бережно поддерживая друга, он отвел его в гостевую комнату, усадил в кресло, расшнуровал и стянул с ног тяжелые лыжные ботинки и толстые шерстяные носки. Камов с видимым облегчением вздохнул и пошевелил желтыми пальцами. Ноги его отекали, и кости голеностопного сустава были покрыты бесформенной массой одутловатой, прошитой синей капиллярной сеткой и испещренной подсохшими коричневыми корочками мелких язвочек плоти. Раздутые сардельки пальцев выдавливали из себя покоробленные глазки ногтей.

– Вот тебе халат, Мишенька, тапочки, зубная щетка. Пижама на кровати. Помочь тебе помыться?

– Нет, Сашок, – с достоинством, хоть и несколько смущенно, ответил Камов, – пощади мою стыдливость. Я сам.

Глава 8

Посвященная спутнице жизни художника Каминки

На этом месте мы прервемся, ибо ощущаем известное неудобство, вызванное появлением на сцене нового персонажа, а именно гражданской (ибо формального брака они не заключали) жены художника Каминки. С одной стороны, существенного отношения к развитию истории, нами излагаемой, она не имеет, и рассказ о ней может стать не иначе как композиционным ляпсусом, ненужной, отвлекающей внимание деталью, излишеством, мешающим стройной архитектонике романа. С другой – как-то неудобно, неловко, неприлично даже: ну как это, взять и оставить безо всякого внимания жену, существо близкое и дорогое нашему герою? Поступить так, не значит ли это не только отнестись к этой женщине с совершенно незаслуженным ею пренебрежением, но и в какой-то степени обмануть естественные ожидания читателя: уж коли есть у художника Каминки жена, пусть (а может, тем более что) и гражданская, то он, читатель, вправе хоть как-то познакомиться с ней поближе, не так ли? А если причиной ее появления на этих страницах служит необходимость подать обед, то мы с полной ответственностью заявляем, что причина эта отнюдь не является уважительной и не оправдывает появления какого угодно персонажа, хотя бы и жены. В этом случае автор вполне мог бы без нее обойтись, отправив наших героев в ресторан или же заставив художника Каминку сделать шукшуку – местную яичницу в остром томатном соусе, что он, кстати говоря, умел делать совсем недурно.

Честно говоря, для композиции, конструкции, динамики повествования было бы куда как лучше обойтись без этой женщины, но вот так запросто вычеркнуть из истории живого человека только оттого, что он, простите, в композицию не лезет, как-то рука не поднимается, тем паче что женщина эта являлась существом далеко не ординарным. Редко, если вообще случалось автору видеть человека, в котором гармонично и естественно сочетались совершенно противоположные свойства, объединенные сильным, жестким характером.

Впервые художник Каминка увидел ее на подиуме в студии ИЗО Д. К. Володарского, куда время от времени по вечерам ходил рисовать обнаженную натуру. Ей было тогда около семнадцати, но выглядела она лет на пятнадцать, не старше. Ее широкую грудную клетку с еле намеченной, словно дикие яблоки, грудью подпирали высокие дуги таза. Талия у нее практически отсутствовала, и таз без всяких характерных для женского тела округлостей и расширений переходил в узкие сильные бедра длинных ног с тонкими лодыжками и на удивление изящными, неиспорченными обувью ступнями. Она была сродни высеченной из мраморного блока дорической колонне. Но, пожалуй, больше всего она была похожа на лошадку, норовистую лошадку из каких-нибудь арабских сказок, одну из тех, о которых мечтают шейхи, воины и поэты, – с маленькой головкой на выгнутой шее, с раздувающимися ноздрями, горячечными глазами, крутым крупом и тонкими ногами. Сходство это подчеркивалось очевидными усилиями, которые она прилагала, дабы стоять неподвижно, и тем, как она быстро перебирала ногами при первой возможности. Странную, необычную привлекательность придавали ее лицу чуть косящие глаза, точнее, один из них – левый.

Мы с известным чувством неловкости упоминаем об этом ее (кстати, почти незаметном) косоглазии, и не столько по причине нежелания этим своим замечанием как-либо задеть ее, сколько потому, что косоглазием, как известно, отличалась одна из героинь величайшего русского писателя. Конечно, всегда можно сказать: ну, вызывает неловкость, так если уж так тебе необходимо, придумай что-нибудь другое, ну, там родинку, горбинку на носу, впалые щеки или еще чего. Так-то оно так, да все дело в том, что ни родинки, ни горбинки, ни впалых щек или еще чего не было, а косоглазие (легкое) было. А поскольку мы поклялись

читателю сообщать одну только правду, то, несмотря на возможные обвинения в плагиате, никакой возможности обойти эту деталь у нас нету.

Кстати, именно этот ее дефект многим женам, чьи мужья становились жертвами обаяния этой женщины, а также и самим этим мужчинам (особенно после того, как она без всякого предупреждения исчезала из их жизни) давал повод утверждать, что она не иначе как натуральная ведьма (косоглазие, как известно, один из вернейших признаков ведьминской природы). Не исключено, что в своих утверждениях они были недалеки от истины, но выяснение этого вопроса уж наверняка заведет нас туда, откуда выбраться мы вряд ли сумеем.

В Питер она явилась из какого-то сибирского города – кажется, Томска. Поступила на курсы стенографии и машинописи. Вечерами подрабатывала натурщицей и в течение короткого срока стала в кругу художников популярнейшей личностью. По слухам, ее благосклонностью пользовались многие. В расчет она не принимала ничего, кроме своего сиюминутного желания, а озадачиваться последствиями ни для себя, ни для кого другого привычки не имела. Вместе с тем иногда могла лечь в постель из жалости, из сострадания, которые порой бывали ей не чужды.

В течение пары лет она была звездой подвального мира, а затем исчезла на несколько месяцев. Ходили слухи, что она безнадежно и неудачно влюбилась.

Ее внезапное замужество для всех явилось полнейшим сюрпризом. Младший научный сотрудник, химик Алексей Григорьевич Городницкий был вдвое ее старше и ни в каких особых талантах замечен вроде не был. В меру интересовался литературой, посещал черный книжный рынок на Литейном, квартирные выставки и даже изредка не задорого покупал у художников работы. Общественность, поначалу отнесшаяся к Нининому замужеству как к очередной взбалмошной выходке, была изрядно удивлена. Она по-прежнему мелькала на выставках, вернисажах, но бывшая легкость ее поведения, всегдашняя готовность к приключению исчезли, как не бывало. Более того, любые попытки флиртовать с ней увядали, едва начавшись. Народ с удивлением констатировал, что еще недавно бесшабашная оторва разом превратилась в матрону строгих нравов, но – что достаточно необычно – без малейших признаков ханжества. На Городницкого стали поглядывать с уважением: видать, было что-то в этом незаметном человеке, раз удалось ему приручить и приструнить эту дикую кобылку.

Выйдя замуж, с подиума она исчезла, отказывая позировать даже самым близким друзьям и бывшим любовникам (что, как правило, совпадало). С той же неумной страстью, с которой раньше отдавалась вольной богемной жизни, теперь она увлеченно познавала институт семьи, со всем тем, что, по ее понятиям, он представлял: крохотная кооперативная квартира в Купчино была святилищем порядка и чистоты. Блестела и сияла кухня, в которой она проводила немало времени, ибо не позволяла себе дважды подавать мужу одно и то же блюдо. С тем же фанатизмом она занялась детьми. Одну за другой родила двух девочек и вылизывала их с упоением и усердием самки, смысл существования которой сводится исключительно к продолжению рода.

Как и раньше, она жила настоящим мгновением, решая конкретные сиюминутные проблемы, не позволяя себе рефлексии, считая их ненужной блажью. Главным и единственным ее занятием была жизнь, а вовсе не рассуждения о ее смысле и целях. А жизнь эта, во всяком случае на данном этапе, сводилась к заботе о детенышах, семье и – в оставшееся время – всему тому, что могло доставить ей удовольствие. Она знала, где и как достать модные шмотки, но и вполне заурядную одежду умела носить так, будто это вещи от знаменитого кутюрье. При случае со знанием дела наслаждалась кухней известного ресторана, но с не меньшим удовольствием сама гремела кастрюлями или перехватывала бутерброд с килькой и крутым яйцом. Носилась с детьми на занятия фигурным катанием, в кружок рисования, в музыкальную школу и дома, сидя в углу со сложенными на коленях когда-то безупречными, а теперь натруженными, набухшими кистями рук, сияющими глазами следила за тем,

как дочери в четыре руки, спотыкаясь, выводили сонатину Моцарта. К невзгодам и бедам она относилась спокойно, как к необходимой части жизни, которую принимала всю целиком и безоговорочно. Узнав о болезни или смерти кого-то из близких или знакомых, недолго печалилась: люди болеют, умирают, так уж заведено. Так же легко и чуть ли не радостно ухаживала она за старой свекровью, жившей вместе с ними. Кормила, мыла, выслушивала жалобы и нравоучения, стирала загаженное исподнее. Когда ту забрали в больницу, каждый день являлась со свежесваренным бульоном, кормила с ложечки и, покуда свекровь обсасывала беззубыми деснами куриное крылышко, ухаживала за пятью заброшенными родными и медсестрами старухами, лежавшими в той же палате. Кормила, выносила ночные горшки, мыла, смазывала пролежни; старухи в ней души не чаяли. Но когда свекровь померла, ее походы в больницу прекратились: матерью Терезой она отнюдь не была.

Жили они более чем скромно, чтобы не сказать – бедно. Зарплаты Городницкого на все не хватало, и ей приходилось подрабатывать, по ночам перепечатывая рукописи. Но в субботу она всегда возвращалась домой с большим букетом цветов и в ответ на недовольный взгляд мужа смеялась:

– Без необходимых вещей прожить можно, без ненужных – нельзя!

И никто никогда, даже ближайšie подруги, не слышали от нее ни одной жалобы. Ни тогда, когда любовь к выпивке перешла у Городницкого в частые запои, ни когда синяки стали свидетельствовать о правдивости давно ходивших слухов, что муж ее бьет. Похоже, что пьющий мужик и побои также были для нее органичной составляющей того необъятного целого, которое называется жизнью и принимать которое следует все как оно есть, без выбора, привередливости и горячки.

В Израиль она приехала с двумя уже взрослыми дочерьми после смерти мужа, ограбленного, избитого и брошенного умирать на промерзшей февральской питерской улице. Так же легко, как и все в жизни, приняла она новую страну, новую жизнь, новый язык, новые трудности.

С художником Каминкой Нина столкнулась на рынке. Она по-прежнему была красива, но уже другой, предзакатной, осенней красотой, с сединой, пробивающейся сквозь краску волос, тонкими линиями морщин на широком лбу, с темными, замаскированными макияжем мешками под глазами, с начинающей проседать шеей. Звонкий голос стал низким и хриплым – курила она беспрестанно. Но все еще хороша была подтянутая, с прямой спиной и балетным разворотом ног фигура, все так же волнующе шевелился при ходьбе высокий лошадиный круп.

Выяснилось, что живут они в соседних районах. Придя к художнику и оглядев его холостяцкую берлогу, она вышла и через сорок минут вернулась с кучей пакетов:

– Пару дней поживи у друзей.

Покуда Каминка что-то лепетал, она вынимала из пакетов моющие средства, щетки, краски, кисти, тряпки, а когда закончила, сказала:

– Через пару дней я тебе позвоню, а сейчас ступай, здесь ты мне только мешать будешь.

Через пять дней художник Каминка с изумлением глядел на свою сияющую чистотой свежепобеленную квартиру.

– Надо бы, – смущенно озираясь, сказал он, – новоселье спраздновать.

– Так все готово. Ты пирожки любишь? – Она ловко накрыла на стол: закуски, бульон с пирожками, жаркое, графинчик водки, бутылка красного вина.

Утром, еще тяжело дыша, с блаженной улыбкой прижимая ее голову к своей груди, он размягченно пробормотал:

– Господи, хорошо-то как... – И неожиданно для себя самого сказал: – Слушай, давай поженимся!

Кожей почувствовал, как она улыбнулась.

– Да, – с энтузиазмом воскликнул Каминка, – поженимся, ты ко мне переедешь...

И удивленно замолчал, услышав:

– Поженимся? Тебе это надо?

Он начал говорить что-то – горячо, торопливо, но она его прервала:

– Лишнее это тебе. Да ты не беспокойся. Я приходишь буду. Раза два в неделю. Тебе больше не надо.

И художник Каминка пристыженно замолчал, ибо знал, что она говорит правду. Поколебавшись, он, чтобы сделать ей приятное и проявить свою заинтересованность, сказал:

– Может, три?

– Может, три, – улыбнулась она.

* * *

Первые месяцы совместной жизни отнюдь не помогли художнику Каминке толком разобраться в характере и свойствах этой женщины. Более того, с течением времени они становились для него все более и более загадочными. Каким образом сочетались в ней легкость и серьезность, почти звериный эгоизм, трезвое, даже циничное отношение к людям, холодный расчет с сердечной открытостью, душевным теплом и даже жертвенностью?

Попытка анализа столь нестандартной натуры представляет собой несомненный соблазн для автора, и он (вот уже в который раз!) видит, как своенравный текст пытается свернуть с предназначенной ему дороги. И в связи с этой очередной попыткой возникает у автора вопрос: а почему, собственно, нельзя вот так взять плюнуть на все законы и правила и свернуть, уйти на манящую, неведомо куда ведущую тропу, поддаться соблазну – и будь, что будет... Разве самая жизнь спокойно катится по ровной дорожке? Разве нет в ней неожиданных поворотов, развилок, обрывов? И если так, то почему текст должен от нее отличаться? С чего надлежит ему быть последовательным и логичным, когда сама жизнь этими качествами не обладает? Разве жизнь – это не произвольный набор всяческих случайностей и неожиданностей? Разве можно ее прогнозировать, строить, когда вся она не более чем утлый, без руля и ветрил хлипкий плотик, отданный на произвол ветров и волн, несущийся по бурному океану, пока не рассыплется и не потонет? Да что там говорить... пригласили вы, к примеру, к себе домой на ужин даму, на которую давно, так сказать, имели виды. Ухаживали за ней, водили в театр, кино, на концерты. В ресторан даже. Дарили при свидании цветы и читали стихи любимых поэтов. И вот наконец дама ответила согласием. Вы из кожи вон лезете, дабы на даму впечатление произвести. К устрицам прикупили шампанское, не какое-нибудь – «Пьер Морле», к нежному, в минуту на плите готовящемуся лангету припасли бутылку «Брюнелло», лучшего года. И вот, в последний момент выскочили в цветочный магазин напротив, купить ее любимые лилии. И бац! Пьяный водитель не туда рулем крутанул, и лежите вы в больнице с сотрясением мозга, без ноги, со сломанной рукой, и только подобранные любезным санитаром лилии, стоя на тумбочке, издевательски напоминают вам о наполеоновских планах...

Ну, какая, скажите, здесь логика?

Да, грустно ответим мы, жизнь есть результат взаимодействия самых разнообразных случайностей, над которыми человек не властен, но реагирует он на них в соответствии со своим характером, тем самым организуя хаос и привнося в него известную логику. И если на протяжении своей жизни человек на первый взгляд часто ведет себя непоследовательно, то смерть, подводя жизни итог, отливает ее в законченную, не подвергающуюся более никаким изменениям структуру, позволяет нам обнаружить в ней устрашающую закономерность.

Наш текст, надо надеяться, будет однажды закончен и, дай-то бог, возможно, попадет в руки читателю. И то, что в тексте этом есть последняя точка на последней странице, обяза-

вает автора позаботиться о том, чтобы внимательный читатель увидел в прочитанном тексте не хаотичный набор слов, характеров, ситуаций и положений, но конструкцию, где он обнаружит свою, только этому тексту присущую логику.

И по этой самой причине, оставив Нину, мы вернемся к одному из наших героев, а именно к художнику Каминке, и расскажем о том, как снизошло на него понимание того, чем эта женщина отличалась ото всех других известных ему людей.

Глава 9

В которой, среди прочего, говорится о музеях, произведениях искусств и некоторых странностях, присущих художнику Каминке

Это произошло в палаццо Массимо, одном из его любимейших римских музеев. Художник Каминка сидел на скамейке в центре зала, где по стенам стелились фрески триклиния виллы Ливии Друзиллы. Когда-то среди этих фресок пировали друзья и клиенты супруги великого цезаря – дружбы и расположения этой властной жестокой женщины искали многие, – да и сам Август часто заглядывал сюда, ну, не на чашку кофе – его тогда не знали, – но, скажем, на бокал вина или прохладного сока, только что выжатого из гранатов или апельсинов, точь-в-точь таких, какие были на фресках, окружавших сейчас художника Каминку.

Порой он думал о тех, кто здесь прогуливался, как и он, смотревших на летающих среди листьев птиц, на упавшие на землю гранаты и айву, яблоки, апельсины, на цветы...

Тиберий, Калигула, Клавдий, Друз... Но чаще он бездумно глядел на лавры и померанцы, кедры и кипарисы, олеандры и вовсе не известные ему деревья, разглядывал птиц, белых, золотистых, красноперых, с красной шапочкой на головке, любовался цветами – вот ромашки, розы, акант, – сколько раз в своей жизни он рисовал гипсовые листья аканта, не подозревая, что акант не выдумка, а живое, настоящее растение... Он сидел, уронив руки, и порой прикрывал глаза, чувствуя, что на сердце его нисходит редкостный покой и что сам он становится частью этого волшебного, зачарованного сада.

* * *

Считается, что к старости горизонт человека сужается, скукоживается, как усохшая фи́га, и художник Каминка был лучшим примером справедливости такового утверждения.

Энтузиаст походов, намотавший тысячи километров путешествий по Средней Азии, Кавказу, Крыму, Средней полосе, своими ногами проутюживший мостовые десятков городов, перебравший все виды транспорта, от тряского грузовика в Армении до верблюда на Синае, в последние годы он ссутулился, замкнулся, всему на свете предпочитая обжитое родное пространство. Его жизнь протекала по маршруту: дом, мастерская, Академия, дом. Изредка, оказавшись в центре города, он с удивлением обнаруживал новые здания, магазины, кафе... Однажды, встретившись на променаде Бен Йегуда с коллегой по службе, он потом долго с удивлением и тихим восторгом вспоминал золотистые прогалины света в синей, легко шевелящейся тени дерева, под которым они сидели, яркий, суматошный калейдоскоп жизни, обтекавшей, но не задевавшей его.

Любитель веселых застолий, он не только прекратил устраивать приемы, которыми раньше был славен, но и от визитов в гости старательно увиливал, наперед зная, кто что скажет, кто как сострит.

Медленно и верно средой его обитания, заменяя собой жизнь, становилась культура. Понятие «культура» было связано для художника Каминки исключительно с прошлым. То, что происходило вокруг, он культурой считать отказывался, во-первых, по причине девальвации этого слова («Ну в самом деле, что это такое: культура мытья полов, культура сидения на мостовой», – фырчал он), а во-вторых, утверждал, что культурой может считаться лишь то, что прошло экзамен временем, остальное же в лучшем случае можно считать бескультурьем. И если в первом случае художник Каминка был совершенно не прав, ибо, согласно совре-

менным представлениям, под словом «культура» воспринимается абсолютно всё, созданное человеком, а также, согласно господам Пепипенко А. А. и Яковенко И. Г., «вся совокупность внебиологических проявлений человека», то от второго его соображения так просто отмахнуться было нельзя хотя бы потому, что подавляющую часть современной культуры (во всяком случае, для человека интеллигентного) составляет именно что культура прошлого. Что же до художника Каминки, так он еще утверждал, будто часть эта не только большая, но и лучшая.

– Назовите мне современного писателя глубже, мощнее царя Соломона, Сервантеса, Толстого, Музиля? – восклицал он. – Назовите художника выше Рембрандта, Микеланджело, Пикассо, Матисса? Композитора, могущего сравниться с Моцартом, Бахом, Шубертом?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.